



rocketbook

Михаил ОСОРГИН

Сивцев Вражек



PocketBook (ЭКСМО)

Михаил Осоргин  
**Сивцев Вражек**

«ЭКСМО»

1928

## **Осоргин М. А.**

Сивцев Вражек / М. А. Осоргин — «Эксмо»,  
1928 — (PocketBook (Эксмо))

Первый роман Михаила Осоргина «Сивцев Вражек» вышел в свет в 1928 году вдали от родины – писателю и известнейшему журналисту на тот момент было 50 лет. В произведении воплотился масштабный замысел писателя – рассказ о падении старого уклада жизни, трагедии старомосковской интеллигенции, пострадавшей от Первой мировой войны и революции 1917 года. Осоргин выступает достойным продолжателем традиций русской классики и пронизывает весь роман щемящей тоской и проникновенным лиризмом, так свойственным писателям-эмигрантам. Послесловие к роману подготовлено кандидатом филологических наук Леонидом Пахомовым.

© Осоргин М. А., 1928

© Эксмо, 1928

## Содержание

Михаил Андреевич Осоргин	5
Часть первая	5
Орнитолог	5
Замечательный день	7
Кладбища	8
Космос	9
Танюша	11
<i>Lasius flavus</i>	12
Планы	13
Время	14
Солдаты	16
У Танюши	17
Тапер	19
Видения	20
De profundis[8]	22
Отлет ласточки	24
Уход человека	25
Самый неразумный зверек	26
Случай с часами	27
Дядя Боря	28
Царапина	30
За шторами	32
Пятая карта	34
Минута	36
Смерть	37
Ночь	38
Сапоги	39
«ЧУДО»	43
Конец ознакомительного фрагмента.	45

# Михаил Осоргин Сивцев Вражек

Михаил Андреевич Осоргин  
Сивцев Вражек  
*Роман*

## Часть первая

### Орнитолог

В беспредельности Вселенной, в Солнечной системе, на Земле, в России, в Москве, в угловом доме Сивцева Вражка, в своем кабинете сидел в кресле ученый-орнитолог Иван Александрович. Свет лампы, ограниченный абажуром, падал на книгу, задевая уголок чернильницы, календарь и стопку бумаги. Ученый же видел только ту часть страницы, где изображена была в красках голова кукушки.

Не ученые мысли бродили в его голове, а простая житейская о том, сколько лет ему осталось жить. Унесла его эта мысль вглубь леса, где кукует кукушка, и сколько прокукует – столько и жить осталось. Таково народное поверье, и не глупее оно всякого другого предсказания. Ошибается кукушка, как ошибаются и врачи. И ни один врач не может предсказать, когда человека задавит трамвай.

Широколицый, русейший, седобородый профессор умирать не хотел, а смерти не боялся только потому, что в юности и в старости был мужчиной и умницей. Он был известен в ученом мире и свою науку любил по-особенному; была красота в его науке: окраска перьев, пенье, природа, рождение весны, прощание с летом. Поэзия была в его науке. Каждую птичку он знал и за это знание свое – любил. И умирать профессор орнитологии не хотел; еще и еще хотел жить. Но сколько же лет жизни обещает ему бессемейная, беспечная птица кукушка?

Кукушка прокуковала три раза. Профессор улыбнулся; суеверным он не был и к своим часам привык. Книгу закрыл, заложив бумажкой. Зевнул – хороший признак. На старости лет страдал он бессонницей. Встал, поясницу помял пальцами, опять зевнул – и, потушив лампу, вышел в спальню.

Через час, когда полная тишина окутала дом и кукушка прокуковала четыре, – из-под книжного шкапа выползла мышь и стала прислушиваться. Кажется – все благополучно, все спит, кошачьего глаза не видно. Мышь пошевелила хвостиком, передернула ноздрями и отправилась в путь.

Путь лежал через спальню профессора, под дверь другой спальни – и столовую. Такова малая вылазка, за крошками. Более длинное путешествие – в кухню; оно очень опасно (кошка). И лучше начать его через другой ход – из-за сундука в коридоре. Там тоже дырка в полу.

Видела мышь только ближний кусочек пола и очертания дальнейших предметов ровно настолько, чтобы не сбиться с пути. Если бы видеть так, как видит кошка!

Добежав до двери, мышка пропустила в щель жир и убедилась кончиком хвоста, что пролезла. Опять остановка – и легкая тревога. Орнитолог спал по-стариковски, беспокойно. Во сне говорил: «Что? Почему? Ах, это все равно!» Но вот дышит ровно, спит.

Всю жизнь так и убил на свою науку. Птицу узнавал издали по перышку, по силуэту, по тихому щебету, – а людей узнавал ли с той же легкостью? По щебету облюбовал себе подругу жизни, вылупились птенчики – три птенца. Оперились, выросли, отлетели. А теперь тут, за стеной, внучка – осталась без родителей.

Старуха жива – бывшая щебетунья, прожившая с птичьим ученым все сорок лет. Птицу так не выберешь, как выбрал человека! Но, конечно, было в жизни всего; особенно в молодые годы...

Опять старик пошевелился во сне, и юркнул серый комочек под дверь в соседнюю спальню.

Было здесь душно. Кровать стояла огромная, вся в подушках, и угол одеяла опустился. Спала на кровати, будто детка, калачиком, седая маленькая старушка, жена профессора. На столике стакан воды, порошки и конфеты в бумажке. И кресло стояло покойное, просиженное. И пахло лавандой и прошлым.

Здесь было так нестрашно, что мышка неторопливо прошла по ковру, остановилась, присела, задумалась.

Здесь было покойно, как нигде, и как нигде – безопасно. Дышала старушка совсем неслышно, и снилось ей простое и неинтересное. Спала со сжатыми губами, а зубы лежали в стакане с водой.

Но зато дальше на пути была комната, которую можно и лучше пробежать быстрее и без остановки. Страшная комната, гулкая и нежилая. В запахе спален есть умиротворяющее, житейское; но страшен зал с большими окнами и далекими силуэтами.

В круге зрения мышки блеснуло – и она отпрянула. На тонкой мордочке заработали ноздри и усы. Не так страшно: только стеклянные подножки рояля. Но, Господи! В таком огромном мире все страшно мышке серой и беззащитной!

Маленькая мышка и огромный рояль, способный грянуть всеми струнами и оглушить. Рояль этот был господином дома.

Профессор играл: «Вот, хотите, я изображу вам соловья; сначала так: фью-и, фью-и; тут низко: фурууу... и трель... а вот как щелкает – никак не изобразишь!» Его жена, старушка Аглая Дмитриевна, играла очень хорошо, но упросить ее трудно. «Ну, руки у меня стары, еле двигаются». Танюша – будущая артистка; и сила у нее есть, и влечение к музыке, и способности. Танюша учится в консерватории. На маленьких концертах выступает без страха. Но живет рояль полной жизнью только тогда, когда приходит вечером профессор Танюши Эдуард Львович. Тогда действительно... И бывает это почти каждое воскресенье. Долго не спят мыши в подполе в те вечера. И ночью не выходят на разведки.

Эдуард Львович – пожилой человек, некрасивый, неинтересный собеседник, но пианист удивительный. И композитор. Любит сладкие сухарики к чаю. Никогда в жизни не пил водки. Станный немного человек.

А мышка тем временем уже возвращается из столовой. Крошки нашлись, и немало. В коридор мышка заглянула было, но там стукнуло – и пришлось бежать. В столовой все обшарила. Опять теперь через залу и спальни – за книжный шкаф, в дырочку и домой. Светает. В темноте страшно, при свете еще страшнее. Всегда страшно.

Серым комочком пробежал вечный страх по комнатам профессорской квартиры, и никто его не заметил. Никто не знал, что целая мышинная семья помогает червяку точить деревянные скрепы пола и прочные, но не вечные стены. Охлаждается земля, осыпаются горы, реки мелеют и успокаиваются, все стремится к уровню, иссякает энергия мира – но еще далеко до конца.

Мышиный хвостик на мгновение задержался наружу – и исчез.

Кукушка прокуковала шесть раз. Профессор заскрипел кроватью. Солнце задело занавеску окна.

Вместе с ним к окну подлетела ласточка, сегодня прилетевшая из Центральной Африки на Сивцев Вражек.

## Замечательный день

Родилось утро – в белой сорочке румяное утро. Молочными крыльями забилося в окна. И тогда щелкнула задвижка и окно распахнулось. Танюша, шурясь, столкнулась с утром, и холодок залился за рубашку. На цыпочках, вприпрыжку, отбежала обратно к постели – еще понежиться, счастливая, что день будет сегодня хороший.

Ранним утром, при окне открытом, – какие думы у девушки в шестнадцать лет? Первая – день хороший, вторая – сегодня воскресенье. Вместо третьей думы – беспричинная улыбка. Затем заботы: позвонить Леночке, чтобы вечером непременно пришла. И понежиться в постели хорошо, и облиться холодной водой тянет. Напившись кофе, разобрать новые ноты. Вечером будет играть смешной и милый Эдуард Львович.

Внучка деда своего, «птичьего профессора», – сразу заметила, что прилетели ласточки. Непременно сказать дедушке. Вчера их еще не было, значит, сегодня первый день настоящей весны.

Колокола, колокола, шум проснувшейся улицы и ласточкино «чирр». Жизнь впереди длинная-длинная. И тонкими пальцами (ногти обрезаны низко, как у музыкантши) погладила круглеющий скат плеча, с которого упала рубашка. Потом сразу ноги на коврик – и побежала к зеркалу, посмотреть на лицо. «Вовсе я не безобразная!»

В шестнадцать лет девушка знает свои глаза и делает презрительную гримаску; но зеркало еще не говорит ей о тайне голого плечика. Через минуту – холодно, ни для кого отразило оно руку, поднявшую кувшин, и струю, облившую тело, – разве для ласточки, которая пролетела мимо окна. И деловито, крепко делало свое дело мохнатое полотенце. И вот Танюша готова.

На стене висит фотография картины, где люди на диване слушают музыку.

Пока пришита пуговка – уже девятый час. Будить дедушку – привилегия Танюши. Она стучит в дверь:

– Дедушка, вставайте! Чудесный день и новость: прилетели ласточки.

– Алло, Танюша, встаю, встаю...

– Как вы спали?

– Хорошо, ты как?

– Тоже хорошо. Ах, дедушка, какой день! Я велю подавать кофе.

В этот день во многих домах московских распахнулись утром окна и выглянули из них лица молодые, старые, заспанные, свежие, шурились, слушали колокольный воскресный перезвон. Сыпалась старая затвердевшая замазка с прилипшей к ней ватой, вынимались и выливались стаканчики кислоты, подметался подоконник, и крошки сора падали за окно. В верхние этажи солнце, воздух и колокола влетали полновесными клубами и дробились о стены, о печку, о мебель. У верующих было на душе пасхально, неверующим весна принесла животную радость.

На дворе выбивали ковер, на окне в кухне кухарка поставила ящик с землей и натывала проросших луковиц.

На углу Малой Бронной студент покупал моченые яблоки и шел домой в Гирши<sup>1</sup>, локтем прижимая распавшиеся листы Римского права. Под каменным мостом мальчик, водя языком по углу раскрытых губ, забрасывал нитку с булавкой и думал о том, что вдруг схватит большая; ноги перепачкал по колено.

---

<sup>1</sup> Место традиционного проживания московского студенчества. М. А. Осоргин в университетские годы и сам жил в этом районе (Большая и Малая Бронные улицы и примыкающие переулки).



Звенел трамвай неистово и напрасно, и городской белой нитяной перчаткой законополагал движение двух пролетов и одного ломовика.

В этот день семинарист, уже полгода думавший о самоубийстве, решил отложить еще, а женщина-врач, одинокая и некрасивая, краснея, купила недорогую шляпу, все равно какую; однако сегодня ее не надела, а вышла в старой, так как с юности выработала в себе сильную волю. Термометр Реомюра с улыбкой играл на повышение.

Это был вообще – замечательный день.

## Кладбища

Но есть окна, которые никогда не открываются; иные за решетками, как в тюрьмах. Через стекла, всегда пыльные, тусклый свет падает на шкафы и регистраторы, набитые бумагами.

В Париже, в Берлине, в Лондоне, где весна наступила раньше, она опасливо обошла старые здания, не бросив луча света в окна дипломатических архивов. Умнейшие мужья, полиглоты, умевшие мыслить шифром, стерегли эти кладбища исписанной бумаги, чертежей и негативов.

Солнце думало, что жизнью земли руководит оно. Вся человеческая жизнь рисовалась ему лишь воплощением энергии его лучей. Оно населило полярный Север высшими формами органического мира; когда пришло время, оно создало страшную катастрофу живущего, убило высокую культуру полюсов и развило отсталую экватора до совершеннейших форм. Оно смеялось над стараниями земных организмов приспособиться, над их борьбой за существование, мало влиявшей на улучшение породы и облегчение жизни. Все, что делал полип или человек, – было делом его, солнца, было его воплощенным лучом. Ум, знание, опыт, вера, как тело, питание, смерть, – были лишь превращением его световой энергии.

Но маленький, страдавший насморком, зашитый в полосы материи на пуговках человек, защитившись от солнца стенами, впуслав лишь нужный пучок света по проволоке в запаянный стеклянный стаканчик, пробовал вершить свою жизнь по-своему. Он макал перо в чернила, писал, шептал и приказывал.

Из стоп исписанной бумаги создавались гекатомбы<sup>2</sup>. По проволокам текли правда и ложь, подогревались и создавали факт, мотив, причину, повод. Мозг человека боролся с солнцем, стараясь подчинить живущее мертвой воле. Огораживал забором кусок земли, стенами город, границами государство, цветом расу, традициями национальность, современностью историю, политикой быт. Хитрый и пытливый мозг строил пирамиду из живых и трупов, взбирался по ней до верхней точки – и рушился вместе с нею.

Солнце смеялось над ним, он смеялся над солнцем. Но последним смеялось всегда оно. С непостижимой для ума человека силой солнце швыряло на землю снопы энергии, рожденной в электромагнитном вихре. Как таран, падали его лучи на землю – и рушилось все, что человек считал созданием своего ума, создавалось все, что только могло быть созданием солнца.

Молчаливейший, в себе самом замкнутый чиновник разобрал слово за словом шифрованное письмо и перевел на рубленую, точную немецкую прозу. Посланник прочел, усмехнулся, одобрил, так как в письме одобрили его.

Посланник думал, что знает все, что знают высшие сферы Берлина, но знал он только большую часть. Высшие сферы Берлина знали все, кроме того, что знал маленький сербский гимназист<sup>3</sup>. Гимназист же знал очень мало, почти ничего. Он был отравлен капелькой нацио-

---

<sup>2</sup> **Гекатомбы** – здесь: всякое большое жертвоприношение.

<sup>3</sup> Маленький сербский гимназист – Гаврила Принцип, член сербскохорватской националистической организации «Молодая Босния», 28 июня 1914 г. совершил покушение в Сараево на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника престола. Этим убийством было спровоцировано начало первой мировой войны в июле 1914 г.



нального яда, был честен, пылок, искренен и истеричен. Он учился стрелять в цель, нарисованную на внешней стене курятника. Это могло дорого обойтись пестрым курам и их крикливому паше; но по счастливой случайности пули ни разу их не задели.

Когда маленький серб научился хорошо стрелять, он решил сделаться национальным героем. Для этого нужно убить врага нации – иного способа стать героем не придумано. А так как много маленьких сербов учились стрелять в цель на стене курятника, то одному из них судьба непременно должна была послать новую цель – грудь австрийского эрцгерцога.

Этого могло и не случиться. Но тогда случилось бы что-нибудь другое. Что бы ни случилось – в архивах за пыльными окнами на все был готов ответ. Солнце творило историю, человек писал к ней комментарий, но творцом истории считал себя. Поэтому он окружил себя стенами и не распахивал окон даже весной. Кладбище бумаг и секретов, добытых дружбой и шпионажем, он считал сигнальной станцией мира и пульсом страны.

Таких кладбищ было много, больших и малых; ими гордились страны, властители и народы.

И хотя в беге веков и кружении туманностей сплоченная сила всех этих кладбищ значила не больше чем придет ли Леночка вечером слушать музыку на Сивцев Вражек, – но в жизни Леночки и Сивцева Вражка, как в жизни всех, кто пашет, пишет, сеет и любит, кто жил вчера и будет жить завтра, была огромной и решающей роль бумажных кладбищ.

И в тот момент, когда девушка шестнадцати лет распахнула окно и увидела первую ласточку, – искра радиостанции чиркала воздух, хитрым червячком вилась мысль в мозгу дипломата, курица на насесте наклонила случайно голову и избегла пули гимназиста, перо газетчика надувало пузырь национальной гордыни.

По сырой и тучной земле, забивая копыта, лошадь тащила плуг.

Легким движением рычага рабочий опрокинул в форму ковш расплавленного металла.

Набухли почки молодой березы. Зеленела трава.

Но тот, кто шел за плугом, еще не знал, что на зеленой лужайке, близ подрезанной снарядом березы, он падает, распластанный и оглушенный, остывшим и вновь разгоряченным металлом. Не знал этого никто. Это было неважно. И осталось бесследным.

На бумажных кладбищах кресты заменены цифрами. В округленных цифрах исчезают лишние единицы. Того, кто шел за плугом, не было и не будет; нет ни рабочего, ни березы, ни подрезавшего ее снаряда.

Живое исчезло в округлении цифр.

## Космос

Вечером окна домика на Сивцевом Вражке были гостеприимно освещены.

Подходя к крыльцу, Эдуард Львович поднял голову и увидел красные гардины зала. Ему стало тепло и приятно. В музыкальные пальцы, озябшие в карманах легкого пальто, возвращалась кровь и подвижность. Он сегодня запоздал и застал всех в сборе, в столовой, за чаем.

У самовара Аглая Дмитриевна, в очках, с большой старинной брошью; старый профессор спорил с молодым другом, тоже профессором, физиком Поплавским. Танюша и Леночка слушали.

У Леночки круглые глаза на розовом круглом лице. Когда Леночка слушает – она удивлена; когда удивлена – у нее поднимаются брови и раскрывается пуговка рта. Танюша умеет слушать, одновременно всматриваясь в говорящего и думая о нем, об его собеседнике, о себе самой, о смешном удивлении Леночки, о том, как много нужно и хочется знать.

Есть и еще гости: почтительный и неприятно-умный студент Эрберг и дядя Боря, старший сын орнитолога с женой, – оба они люди незаметные.

Эдуард Львович вошел, потирая руки. Его обычное место – по левую руку Аглаи Дмитриевны – ждало его. Вообще – все было в порядке, как установилось за два-три года знакомства.

Пили чай. Физик Поплавский говорил с профессором об опытах Майкельсона и Мореля и о сдвиге световых волн. Орнитолог высказывал опасение: не беспомощна ли физика?

– Ваш светоносный эфир подозрителен! Слишком многое приходится прилаживать и приспособливать. Вы, физики, в тупике.

Поплавский тупика не отрицал, – но разве это колеблет науку? Подождем завтра!

После чаю перешли в зал. На широчайшем диване приютились профессор, дядя Боря и Танюша. Аглая Дмитриевна в своем кресле под лампой – с вязаньем в руках. Леночка удивленно на стуле. Поплавский в самом затененном углу. Жена дяди Бори где-то незаметно.

Эдуард Львович играл где-нибудь ежедневно, но лучшим днем его было воскресенье в семье орнитолога. И он волновался. Эдуард Львович не был стар, но казался стариком: лысый, с длинными, незачесанными косами на затылке и висках. Один глаз его плохо видел. Эдуард Львович горбился, смущался своей некрасивостью и часто потирал руки.

Сел у рояля, но сейчас же вскочил и долго перевинчивал стул, устанавливая его на нужном от клавиш расстоянии. Взял аккорд, пробежал по клавишам и опять забеспокоился, оглядел крышку рояля, заглянул под него. Забеспокоилась и Танюша, бросилась помогать. Оказалось – конец ковра попал под ножку рояля. С помощью дяди Бори вытащили. Опять аккорд – хорошо.

Вместо «л» Эдуард Львович выговаривал нечистое «р». И сказал:

– Я бы хотер попробовать сыграть... но торько есри вы хотите срушать... но могу и что-нибудь другое...

Поняла Танюша:

– Сыграйте, Эдуард Львович, свое, про что вы говорили тогда. Оно готово?

– Готово ли – как сказать... Я уже знаю. Но ведь это почти импровизация. Я называю это... можно назвать «Космос».

Физик отозвался:

– Космос, это... интересно. Именно музыка только и могла бы вполне...

Леночка сидела удивленная. Эдуард Львович смущенно попросил:

– Я порагар бы ручше немного меньше света...

Танюша гасит огни. Остается только лампа, освещающая рукоделье старухи.

И Эдуард Львович играет.

Леночка удивленно смотрит на пальцы композитора, мелькающие в полутьме по клавишам, на его голову, то откинутую, то припадающую. Леночка слушает звуки в их раздельности и в их слиянии и думает, что это не похоже на мелодию, на танец, на увертюру оперы. Думает и о том, что Эдуарда Львовича называют гениальным, и о том, что его левый глаз косит, и о том, что вот она, Леночка, слушает игру гениального человека. Собрать и вместить свои мысли в одно целое Леночка никак не может, и брови ее удивленно поднимаются.

Дядя Боря хмур. Он – инженер, но неудачник. У него некрасивая старообразная жена. Он многого не знает, в том числе и музыки. Бетховен, Григ – все это слышал, имена, – но как различать? Скрябин – диссонансы. Почему то, что играет Эдуард Львович, называется космосом? Космос, это что-то астрономическое... Было бы хорошо, если бы все, превышающее уровень мышления дяди Бори, оказалось выдумкой и вздором. Тогда дядя Боря вырос бы и стал величиной. И вообще... почему паровые котлы ниже музыки? Что они смыслят в паровых котлах? И болезненно сознает дядя Боря, что именно музыка выше паровых котлов и что это его, дядю Борю, принижает, делает несчастным, неинтересным.

Старый орнитолог полулежит с закрытыми глазами. Звуки носятся над ним, задевают его крыльями, уносятся ввысь. Иногда налетают бурной стаей, с гомоном и карканьем, иногда издали поют мелодично и проникающе. Это не на земле, но близко над землею, не выше облака

и полета жаворонка. Не страшен космос Эдуарда Львовича! Да и не так сложен, даже не экзотичен: русская природа. Но как хорошо! Старость спокойная, диван, милая внучка, доступность высшего, что зовется искусством. Я – профессор, я известен, я стар, я не хочу умирать, но, конечно, я могу умереть спокойно, как живший, исполнивший, уверенный, уходящий. Звуки – как цветы, музыка – пестрый луг, леса, водопады. Смешной он, Эдуард Львович, но он мастер, и он чувствует многое, что другим дается наукой, мыслью, старостью.

В мировых пространствах, среди туманностей, вихрей, солнца, носится остывшая планета – лампа Аглаи Дмитриевны. Старуха слушает, вяжет, не спуская ни одной петли. Слушает с удовольствием, думает о том, что в самоваре осталось мало воды, а угли еще горячие. Но Дуняша догадается. Эдуард Львович прекрасный музыкант и отличный учитель. Танюше шестнадцать лет, пусть учится. Но все равно – выйдет замуж, и это главное. С музыкой выйдет лучше. А свои исторические науки тоже пусть кончит, торопиться некуда. Танюша – сирота, но счастлива та сирота, у которой живы и благополучны дедушка и бабушка. Однако он долго играет. Аглая Дмитриевна посмотрела поверх очков и чуть было не спустила петли.

В самом темном углу на мягком стуле профессор Поплавский думал о своем. Мироздание – огромно, но для понятия о нем нужно представить атом. И атом не последнее. Эдуард Львович хочет постигнуть мироздание силами музыки, семью ее основными тонами, – но художественной догадкой знания не подменишь. Семь цветов спектра дают больше, и вот мы взвешиваем точными весами горящую массу далекой звезды, определяем сложный состав небесного тела, устанавливаем его возраст. Но, может быть, музыка права, так как идет тем же путем постижения и приводит к той же иллюзорности мироздания. Астроном изучает Вселенную. Какую? Ее в этом виде уже нет! В телескоп мы видим прошлое звезд, планет, туманностей. Солнце было таким... восемь минут назад, звезда была такой – тысячелетие тому назад, другая звезда – десять, сто тысячелетий. Великая иллюзия! Но играет он, Эдуард Львович, прекрасно. Музыка велика тем, что ей не приходится оперировать словами, цифрами, что она не переводится на несовершенный язык. Может быть, в этих звуках космоса нет, но переведи их на язык слов и цифр... и получится... Эвклидова геометрия.

## Танюша

Танюша сидела на диване, подобрала ноги и головой прижавшись к плечу бабушки.

Сначала впивалась в звуки, потом унеслась в гармонию. Маленькой горячей точкой носилась в безвоздушном пространстве, окруженная вечными, безответными вопросами звезд, планет, туманностей, житейским, возросшим до вселенного, вселенным, упавшим до мелочи быта.

Космоса в музыке не искала: просто вбирала ее в душу и рядом с ней – в ее орбите – жила. Отдала работе неосознанной мысли и свое легкое тело, и душную теплоту бабушкиного плеча, и полумрак залы, и колебание звуков.

Большую комнату заполнили образами и видела рождение их под потолком, хоровод вокруг лампы, срывы встреч случайных и размеренный танец. Летала с ними – за пределами стен. Дыша – открывала рот, чтобы не мешать слуху. Послушно принимала в складки ума новые тюки нераспакованной мысли – запасы сырья, к обработке которого после-после, с утренней силой приступить. Не боялась – но знала, что будет трудно, была рада и серьезна.

Космос? Его Танюша не видела; он – цельность и завершение, она – на пороге жизни, едва за пределами хаоса, из которого вышла ребенком. Она только начала собирать крупинки реального знания, вся была в мире вопросов, первых ощущений, важнейших, дробящихся, противоречивых. Жадно тянулась к ясному, к аксиоме, не принимала теорий, негодовала на двойное решение, не нуждалась в вере. Знала, что все это важно, даже щекочущий волос бабушкиной бороды, – но было так некогда, так много было работы, что делала мыслью прыжок от деталей (о них подумает потом) к гигантскому общему, от мятой складки скатерти – к сладкому

и страшному «зачем жизнь?» и особенно «как жить?». Однажды уже додумалась, что цель жизни – в процессе жизни, и потому мучилась: верно ли? Не оскорбила ли цели? Не унизила ли смысла существования?

Однажды, в разговоре с бабушкой, Поплавский сказал, что три точки в одной линии зрения могут не дать прямой, что это относительно. Не поняла вполне, но взволновалась: как же быть тогда с тем, что уже считала решенным, чем проверяла свои выводы? Как бабушка может усмехаться и быть спокойным ученым бабушка? Разве он знает что-то большее? Когда Поплавский говорил о своих смешных точках, у него даже глаза стали грустными. А бабушка, который должен же понимать и который тоже знает, был совсем спокоен и шутил:

– Не говорите вы при Танюше о таких ужасах! Она спать не будет.

И действительно, Танюша в тот вечер долго не засыпала, хотя думала и не о точках, а вообще о том, как же быть, если ничего совсем-совсем верного нет? И тогда же – попутно – догадалась, что есть люди, берущие готовое и строящие на нем счастье, и есть люди, которым счастья и построить не на чем, так как почва под ними всегда дрожит от сменяющихся вопросов. Бабушка из первых; но может быть, эти первые знают что-то еще высшее, выше вопросов, не поколебимое ничем? И, однако, пытливым умом была со вторыми.

И чутко, ухом музыкальным лаская дробь звуков, сливая их в пяти нитях нотной бумаги, – слушала Танюша странную и сильную импровизацию своего учителя и думала свое, мелкое, бытовое, житейское – и великое, не разрешимое для мягких еще мускулов сознания. Ее мироздание лишь строилось.

Сейчас Эдуард Львович кончит – совсем почти мелодией. Все, что искал и что высказывал, – свел к немногим простейшим звукам. Неужели для него это так ясно? Кончил – и все молчат. Встал, потер руки, посмотрел на лампу виноватыми глазами, и Аглая Дмитриевна поверх очков одобрила, сказавши:

– Уж так хорошо, что и не знаю. Заслушалась я вас!

Вышло это у нее просто. Другие думали, что сказать; но сказать было нечего. И Танюша, очнувшись, вздохнула.

## **Lasius flavus**

На заре светлого дня в землю черную, влажную, поспевшую для посева, ангел жизни бросал семена.

Выходило солнце, и дрожащее ожиданием семян заволакивалось теплым паром, набухало, лопалось и выпускало сочный белый росток и нитку корня.

Корень стремился вглубь, искал сытной влаги, цеплялся за жирные частички земли; росток напрягал все силы, чтобы выпрямиться, открыть зеленый лист и расплестись перед солнцем.

А когда заходило солнце, ангел смерти выносил на поле лукошко с сорными травами и среди новых зеленых всходов бросал семена зла и раздора. К утру и их зеленый обман пригревало бесстрастное солнце, и человек радовался богатым всходам засеянных полей.

Несуществующий, великий обещал в тот год победу ангелу смерти. И когда вытянулась и заколосилась первая травка, на нее поспешно взобрался муравей *Lasius flavus*<sup>4</sup>. Это не был охотник за травяными тлями. Муравейник на опушке леса имел прекрасные стада тлей и был обеспечен их сладким молоком. Но сообщили лазутчики, что в окрестностях неспокойно, что грозит муравьиной республике нападение охотничьих племен *Formica fusca*<sup>5</sup>, которые уже перебежали насыпь строящейся железной дороги и стягивают свои силы у поворота

---

<sup>4</sup> Один из видов рыжих муравьев (лат.).

<sup>5</sup> Муравьи-охотники (лат.).

поля. Страшен был не бой – страшно было грозящее рабство. И это в момент, когда крылатые самки уже вернулись с первого вылета бескрылыми и готовились стать матками новых рабочих поколений.

В июльский зной загорелась первая битва. Стальные челюсти впивались в щупальца и ножки противника, срезали их одним напряжением мускулов, тела свивались клубком, и сильный перегрызал талию слабейшему.

Там, где сходились армии, песочная дорожка покрывалась огрызками ног, обломками челюстей, дрожащими шариками тел. А по обходным дорожкам грабители спешно тащили куколок, обеспечивая себя будущими рабами. Иной проголодавшийся воин забирался в стойла врага и жадно выдаивал упитанную, породистую тлю; а минуту спустя уже извивался на земле в мертвой схватке с пастухом, защищающим собственность своего племени.

Шел бой до самого заката, и уже окружен был муравейник все прибывавшими армиями бледно-желтого полевого врага. Но случилось то, чего не могли предвидеть лучшие из муравьиных стратегов.

Задрожала земля, надвинулись гудящие тени, и внезапно муравейник был снесен неведомо откуда пришедшим ударом. На дорожках все спуталось, и враг с врагом в неостывшей схватке были раздавлены невидимой и неведомой силой.

Рядом никла и затаптывалась трава, песчинки вдавливались в муравьиное тело, и от стройных армий не осталось и следа. В пространствах, неведомых даже острейшему муравьиному уму, быть может, в чуждом ему измерении, как невидимая гроза, как мировая катастрофа, прошла божественная, неотразимая, всеуничтожающая сила.

Погибли не только муравьиные армии. Погибла полоса посевов, примятых солдатским сапогом; поникли пригнутые к земле и затоптанные кустики вереска, миллионы живых и готовившихся к жизни существ – личинок, куколок, жучков, травяных вшей, гнезда полевых птиц, чашечки едва распустившихся цветов, все погибло под ногами прошедшего опушкой отряда. А когда тут же, вслед за пулеметной командой, утомленные лошади провезли орудие, – на месте живого мира осталась затоптанная полоса земли с глубокой колеей.

И долго еще ковылял по ставшему пустыней живому божьему саду чудом уцелевший муравей-лазутчик пастушеского племени *Lasius flavus*, не находя более ни друзей, ни врагов, не узнавая местности, затерявшийся, несчастный, малая жертва начавшейся катастрофы живущего.

Как было приказано, отряд остановился в деревушке. Лаяли и с визгом убегали собаки, солдаты с ведрами и манерками потянулись к реке, хриплый голос говорил слова команды, кудахтали потревоженные куры, и ночь опустилась над землей, не запоздав ни на секунду времени.

И загорелись в небе звезды миллиардолетним светом.

## Планы

Программа ласточки, прилетевшей на Сивцев Вражек из Центральной Африки и жившей над окном Танюши, была в общих чертах выполнена. Птенцы вывелись, окрепли, научились летать и были готовы к самостоятельной жизни. Забот теперь было мало, интерес к жизни не так могуч, и главные устремления ласточки и всего ласточкиного народа сводились к усиленному питанию, чтобы выдержать осенью обратный перелет. Искренне упивалась жизнью только молодежь, еще чуждая страстей, веселая, готовая целый день шнырять, гоняться за мухами, болтать вздор на телеграфной проволоке и на закате ловить в выси лучи уходящего солнца, когда внизу ползут уже сумерки.

Программа жизни неприятно-умного студента Эрберга была сложнее. Он кончал университет, имел в виду остаться при нем по специальности (государственное право) и жениться по чувству и с расчетом. Так как торопиться было некуда, то он мог хорошо и внимательно присмотреться, прежде чем выбрать себе жену среди молодежи профессорских семейств. Одной из кандидаток на счастье была Танюша. Поэтому студент Эрберг посещал воскресенья профессора орнитологии; но, держа Танюшу в резерве, студент Эрберг продолжал неспешно осматриваться, вполне уверенный, что недостатка в выборе не будет.

В июле была объявлена война. Среди полумиллиарда людей, житейские планы которых она поколебала, был и неприятно-умный студент Эрберг, только что сдавший государственные экзамены. Как все умные люди, вкусившие от мудрости государственной науки, он считал, что война не может продолжаться дольше двух-трех месяцев. Поэтому, не спеша портить свою карьеру и обеспечивать себе место в гражданском тылу, он поступил в школу прапорщиков. Форма ему шла, офицерская пойдет еще больше. Вынужденный отдых от умственных занятий был необходим. Военная муштровка укрепляла тело. Эрберг сразу научился печатать ногами, рапортовать, держать пояс подтянутым и в полном порядке укладывать на ночь одежду. Он был высок ростом и в ученье стоял фланговым.

Больше всех в Эрберга была влюблена горничная Дуняша, брат которой был на войне с первых дней. Эрберг, как будущий офицер, казался ей существом высшим, недостижимым; он и был им для Дуняши, и она краснела пятнами от подбородка до кончиков ушей, помогая ему снимать юнкерское пальто. И Дуняша же первая заметила, что с Эрберга не сводит Леночка круглых удивленных глаз. И понятно – он красив, значителен и о военных операциях говорит с тою же уверенностью, как раньше говорил о театре Станиславского и вопросах международного права. Но в форме он милее, еще моложе, ближе сердцу простой девушки.

Если бы Танюша знала, что она – одна из избранниц Эрберга, она бы его боялась; но Эрберг ничем ее от других не отличал, разве – ласковой почтительностью и особым вниманием к старушке Аглае Дмитриевне. Это последнее Танюше нравилось, и к Эрбергу она относилась хорошо. Интересов его не понимала и не разделяла. Но все же молодец, что не захотел укрыться в тылу, как другие, а записался в прапорщики. За это Эрберга в профессорском доме все одобряли, и Танюша была довольна: это – ее знакомый. О Леночкиных чувствах немного догадывалась, но время было такое, когда мало думалось и говорилось о личном, о чувствах, даже о музыке: война захватила всех, об ином и говорить было как-то странно.

У Эрберга была мать, уже пожилая: ее он никому не показывал – или не приходилось, или расчета не было. Покойный отец был из рижских немцев, а мать из московских мещан, совсем незначительная. И у матери были планы: пускай все будет в жизни так, как хочет ее замечательный сын. Ведь раньше было в жизни так, как хотел его отец, – и дурного не вышло. Мужчины знают больше, чем догадываются женщины. И она носила наколку, вела хозяйство и заботилась о чистоте наброшенных на кресла плотных, добротных вязаных салфеточек.

Эрберг целовал матери руку. Если бы поцеловала она ему – было бы и это просто и естественно. Когда он выходил, мать не спрашивала, куда он идет и когда вернется. Если нужно – скажет и сам.

В планах ласточки был беспокойный, беспутный перелет; в плане Эрберга прочность и корень. Когда Эрберг пил чай, он ставил свой стакан на середину блюдечка верной, спокойной, красивой рукой.

## Время

В подвальном помещении под кабинетом ученого-орнитолога, в том месте, где в фундаментальную стену упиралась балка, было на стене зеленоватое пятно, покрытое пухом белой

плесени. На сыром каменном полу насыпался небольшой валик мельчайших перегнивших кусочков дерева и сырых пылинок извести.

В глазах мышки это пятно было как бы гобеленом. Его грибной рисунок был замысловат, тонок и многотонен. Тысячи поколений работали над ним. Выпоты сырой гашеной извести пробуждали жизнь в промежутках кирпичной кладки под слоем штукатурки. Без общего командования, как бы без плана, шла работа разрушения. Микроскопические существа, любя и питаясь по-своему, вспахивали и унавоживали грибное поле. Они гибли, выделяли тепло и возбуждали деятельность жирной грибницы, взрастившей дремучий лес стройных пальм, вислых ив и цепких фантастических лиан.

Та же непрестанная жизнь и непрерывная, без часов и минут отдыха, работа согревала деревянную балку. Мягчайший, мельчайший червячок с прочной стальной головой сверлил ходы сквозь волокна дерева; уставши – окукливался, становился жучком, клал яичко, умирал. Новый червячок прокладывал новый путь, чертя в древесной мякоти условный рисунок. И мертвое, холодное дерево, когда-то страстно сосавшее землю, когда-то пластавшее зеленый лист к лучам солнца, – вновь согревалось, дышало теплом миллиона гнезд и мастерских, мечтая о возврате в землю и новом воскресении в живящих соках.

И деловито, упрямо, блестя шариком глаз, напрягая мускулы хвоста, серая мышка зубами и коготками отламывала щепочки от толстой доски пола. Эту работу начали ее предки. Был сделан точный инженерный расчет расстояний и направления.

Расчет уже забыт, но следы зубов и когтей указывали верный путь... Упираясь задними лапами в неровность стены и мякоть щепня, мышка сразу делала два дела: продолжала культурную работу поколений и стачивала слишком быстро росшие зубы.

Шум извне спугнул труженицу подполья. По булыжной московской мостовой переулочка, громокая, проехала телега. Со стены упало несколько чешуек; неубранным сором завалило ход червячка. Лопнула в балке истлевшая ворсинка дерева. Старый особняк профессора задрожал и накренился на несколько линий, незаметно даже для зоркого мышиного глаза. Непросохшая капля вчерашнего дождя залилась между камушком и внешней стеной. На крыше дома лопнул ржавый гвоздик, державший лист кровельного железа. Ласточка под окном выпорхнула из гнезда, продержалась в воздухе, осмотрела глиняные скрепы своего сооружения и, успокоившись, вернулась к оставленным яичкам. Ее дом был нов и крепок.

Профессору понадобилась справка; долго перелистывал толстый немецкий том, потом вспомнил, что в прежних своих работах уже приводил эти цифры. Выдвинул из регистратора коробку, вынул рукопись давнишней работы, стал искать, удивился прежнему выводу: новые данные меняют его. Рукопись была того же формата, как и новая, недавно начатая; и те же линейки бумаги. Но старая бумага пожелтела. И почерк профессора, прежде крупный и уверенный, помельчал, стал неровным, скопился направо. Профессор этого не заметил. Со стены глянула на него молодая жена в платье с буфами на плечах, тонкая в талии, улыбнулась – но и ее он не заметил.

Рядом в комнате старушка вынула из стакана и насухо вытерла челюсть. Вставила, пожевала, приладила и посмотрела в зеркало: впадины щек растянулись, изгладились. Вдохнула и поправила чепчик.

Танюши дома не было. Танюша сидела в большой полупустой аудитории и внимательно слушала лекцию. Профессор с осторожностью, боясь быть слишком крайним, подкапывался под теорию прогресса. Его критический ум требовал круговорота истории. Уходя в глубь веков, он рисовал красивую картину исчезнувшей культуры Востока. И перед удивленной Танюшей, пережившей свою шестнадцатую весну, народы средиземноморского побережья, культуре которых ее учили изумляться в гимназии, – лишь изживали или реставрировали обломки культуры, древнейшей, созданной народами, ранее их пришедшими в мир.



Из глубины веков вставала величественная религиозная система, охватившая своей дисциплиной все стороны жизни, проникавшая в интересы духа и мелочи быта, заполнявшая всю жизнь человека.

Под наслоениями греческой науки и философии, внезапно лишенными оригинальности, проглядывал Вавилон, сияла высокая мысль египтян, иранцев, индусов. Непрерывность исторического развития пресекалась гибелью культур и завершенностью процессов.

В старом профессоре это рождало пессимизм и горечь мысли; в юных душах рождалось иное: восторг перед прошлым, уважение к отдаленному предку, не просто человекоподобному, а мыслителю, поэту, великому политику.

Из развалин древности пробивался новый источник жизни, мысль стремилась к новому возрождению.

Но и старому и юным одно было ясно: крушение ценностей, хотевших быть абсолютными, шаткость здания сегодняшнего быта, близость грозы, сгустившейся над новым Вавилоном.

Танюша слушала профессора, внимательно наблюдала, как с носа его постоянно спадало золотое пенсне, глядела в прошлое, чувствовала будущее и росла. На нежном мозге быстрыми штрихами зачеркивались записи детской думы и простых верований, каракульки ребяческих дневников исчезали под скорописью новых слов, и капал деготь мысли в мед сердца.

Танюша слушала, и рот ее был полураскрыт.

## Солдаты

С барским особнячком на Сивцевом Вражке очень малым был связан брат Дуняши, Андрюша, рядовой Колчагин, пехотинец.

Этот жил до призыва в деревне, а война застала его на двадцать третьем году жизни. Не оглянувшись, как оказался в окопах, а скоро снялись и начали отступление.

Впрочем, шли ли вперед, шли ли назад, – рядовой Колчагин не знал. Неприятеля близко не видал, а только ухом слышал. Из-за чего война – понять не мог, а что приказывали, делал аккуратно. Был вынослив, пищей доволен. Как неженатый и без своего хозяйства, по деревне скучал меньше других. Утомившись, спал; мог и выпить, когда было на что или когда угощали. Офицеров, которые не дрались, уважал; которые дрались – еще больше, считая именно их настоящими.

Таких же, как он, были еще тысячи и еще миллионы – постарше, помоложе, поглупее, недогадливее. В массе они были великой военной силой, по отдельности – Иванами, Василиями, Миколаями из деревни Вытяжки близ села Крутойр. Верст за тысячу и за две от их деревни были местечки с каменными стройками и богатыми запасами навоза: Блаукирхе, Иоганнисвальд. Солдаты из этих местечек носили медные каски, были грамотнее, понимали больше и лучше маршировали. Но, грозное войско вместе, по отдельности они были Гансами, Вильгельмами, мелкими хозяйчиками, батраками, рабочими. Еще дальше к западу жили и ушли на фронт Жаны и Базили из местечек Масси и Бьевр; южнее – из живописного прибрежного Пьеве ди Кастелло и горного Рокка ди Сант Антонио, где женщины провожали молодых Джованни, Джузеппе и Базилио. Новобранцы, особенно при женщинах, держали себя браво и героически; в душе их была бессмыслица, прикрытая робким недоумением. Но было придумано много простых, легко произносимых слов и довольно красивых оборотов речи, одинаковых на всех языках, для замены и облегчения мысли. Придумыванием таких слов были заняты адвокаты с малой практикой, старавшиеся через журнализм попасть в парламент. В том, что все это хорошо, честно и даже умно, были искренно уверены многие хорошие, честные и умные люди, и это придавало настоящий вес войне и патриотизму.

Под зданиями дипломатических кладбищ были проложены канализационные трубы, по которым гадкая жидкость текла в центральную клоаку, а оттуда на поля орошения, где росла прекрасная цветная капуста. Таким образом, путем тщательной очистки, чиновная ложь и мерзость на последнем этапе превращалась в красоту храбрости и чистую слезу. Люди же ограниченные говорили о простом обмане, что было несправедливо: обман был очень сложен и величествен. Поэтому люди с узкими лбами стали пораженцами, мудрые же отошли от жизни, одни – на долгие годы, другие – навсегда.

Между теми и другими, и еще третьими, и четвертыми, и всеми остальными разница была так мала, так незаметна, что судьба решила, не копаясь в мелочах и из опасения возможной ошибки, всем им уготовить одну и ту же участь. Она взмахнула бичом и на всех телах оставила красный, неподживающий рубец.

Да. Но дело в том, что было нечто гораздо важнее таких рассуждений, а именно вопрос о рубашке и штанах. С казенными как-то сразу вышла заминка, а походных бань и совсем не было. Иметь же свою, домашней работы рубаху, – это совсем особенная вещь, этого в двух словах не расскажешь, но разумному и так понятно. Если баня была светлой Пасхой, то рубашка – воскресным днем, вроде воздуха после душной барачной землянки. Поэтому Андрей написал Дуняше письмо, которое прошло нужную цензуру, дошло до кухни на Сивцевом Вражке и попало в столовую профессора.

Читала письмо Танюша, обсуждали все, а Дуняша старалась прикинуть, сколько обойдется послать братану рубашку, если сошьет ее она сама.

После обеда в кухню пришла Танюша и дала Дуняше денег, гораздо больше, чем было нужно, сразу на две рубашки и на штаны. Танюша стеснялась, а Дуняша была бы рада, если бы только могла понять, почему господа дали ей денег на нужду брата. Жила давно, считала их добрыми, дарили часто, очевидно ценя ее службу. А почему дают на рубашку Андрюше, не так понятно. И Дуняша взяла как подарок себе.

Теперь стало проще. Дуняша купила добротной материи, шила вечерами, сшила и послала. Танюша узнала ей, как переслать Андрею на фронт, сама все надписала. Написала и письмо. И было Дуняше так странно, что вот из этой кухни пойдет и письмо и рубашка прямо на фронт, где Андрюша стреляет в немцев.

Так и случилось. Прошло с месяц, и опять почтальон принес солдатскую весточку: Андрей рубашки получил, как раз впору; с неприятелем же мы скоро справимся. Ганс писал тоже своей жене в местечко Блаукирхе. Но лучше всех написал письмо красавчик Джованни из Пьеве ди Кастелло – свой невесте. Он посылал ей *mille baci*<sup>6</sup> и в самом конце приписал:

“L'amor e invincibile, come la forza italiana”<sup>7</sup>.

Впрочем, его отряд стоял пока в окрестностях Вероны. Но не в том дело. Открытка была красива, а в левом углу – Савойский герб. Розина показала подруге, и обе были в восторге.

Ложась спать, Розина письмо положила под подушку. И заснула она только после долгих вздохов. В своей деревне она считалась самой красивой девушкой.

## У Танюши

В день рождения Танюши (17 лет!) Сивцев Вражек до утра слушал музыку, но не Эдуарда Льюовича, а приглашенного тапера. В доме профессора, таком штатском, таком солидном, впервые появилась военная молодежь, и сразу много – офицеры, больше юнкера, и только один Белоушин вольноопределяющийся. Дуняшин брат Андрей был в отпуску, на побывке после легкой раны, и помогал ей прислуживать. Он говорил Дуняше:

---

<sup>6</sup> Тысячу поцелуев (*итал.*).

<sup>7</sup> «Любовь непобедима, как сила Италии» (*итал.*).

– Здесь што! У нас на фронте, в штабе, не так еще отплясывают. И музыка – всем музыка, музыка, потому что полковой оркестр. А здесь што!

Перед офицерами Андрей стоял навтыжку, к юнкерам становился боком, вольноопределяющегося совсем не замечал, – когда подавал чай.

Самым блестящим офицером был Стольников, совсем молодой офицер, но уже поручик, произведенный на фронте. Здоровый, стройный, загорелый, умница, неплохой танцор. Лучше его танцевал только Эрберг, еще юнкер, но уже перед выпуском. Если сердце Леночки колебалось, то только Стольников мог отвлекать его внимание от кумира давнего. Стольников был прямее и проще, но Эрберг привлекал серьезностью и загадочностью. Леночке на вечере в Сивцевом Вражке было весело, и ее брови меньше обычного удивлялись.

Стольников на днях возвращался на фронт – с охотой. В Москве он был по делам, командированный по закупке лошадей. К фронту он уже привык, здесь чувствовал себя гостем. Он был артиллерист, нанюхался пороху, имел что рассказать, сжился с батареей. Ему казалось, что жизнь сейчас там, а не здесь. Но и здесь хорошо, когда весело, когда не говорят пустяков о войне, которой не понимают.

Эрберга скоро могли отправить на фронт. Теперь уже всем ясно, что война затянется.

Были студенты: медик Муханов, юристы Мертваго и Трынкин, естественник Вася Болтановский. Этот – большой приятель Танюши, энтузиаст, верующий, театрал, любитель музыки. По мнению Васи, с которым Танюше было легко и свободно говорить, мир немножко сошел с ума, но это не беда, а очень интересно.

– Мы увидим такие вещи, такие события, что сейчас и не придумаешь. Очень интересно сейчас жить, Танюша!

Вася Болтановский был любимцем старого орнитолога, который знал отца Васи таким же пылким и жизнерадостным студентом. Васю единственного профессор, со всеми изысканно, по-старинному вежливый, называл на «ты», любя брал за вихор и отечески ласкал.

– Жить, милый мой, всегда интересно, и никаких для этого особенных событий не требуется, а уж вернее – наоборот. Такие-то события только мешают внимательно читать книгу природы. Ты вот естественник и должен это лучше других знать. Войну лучше в микроскоп разглядывать, разницы никакой нет. А уж жить лучше в мире.

Вася возражал:

– В микроскопе козявка, а тут человек. И я не о войне одной говорю. Тут, профессор, весь мир вверх тормашками... Не успеет война кончиться, такие начнутся дела... прямо жутко и весело.

– Жутко, да не больно весело. Убьют тебя – матери твоей не больно весело будет. Нельзя, Вася, так говорить! Ты кровь учти, кровь. Цена какая!

Вася задумчиво говорил:

– Да. Это – да. Вот с этим мириться трудно. Если бы не кровь...

Медик Муханов, еще не сдавший курс остеологии, вставлял солидное мнение:

– Без крови, профессор, операции не бывает.

На что получал от профессора, не любившего медицины:

– Ну, положим, бывают операции и без крови; если вы себе челюсть свихнете, вас врачи резать не станут. А главное – живет весь мир существ без медицинских операций, живет не хуже нашего, и гордиться нам нечем. Насильственных вторжений в мировую эволюцию природа вообще не терпит; она мстит за это, и жестоко мстит.

Танюша думала, что дедушка прав лишь постольку, поскольку он – добрый и поскольку убийство человека отвратительно. Но ведь война не совсем простое убийство, и разве существует «мирная эволюция» природы? И там скачки, и там войны, революция, борьба. Дедушке хочется, чтобы все было просто, мирно и хорошо. Но в действительности бывает совсем не так.

Но тут уже начинался вопрос, на который ответа Танюша не имела.

О войне было мнение и у Дуняшиного брата Андрея. Он излагал его на кухне Дуняше в таких выражениях:

– Человека я, наверное, убивал, хотя и не своими руками, а, конечно, пулей. А доведется – и штыком пропорю. И, однако, я не убивец, а я воин. Воюем же мы, Дунька, для причин государства, а не для себя. Мне на немца вполне наплевать, хоша я его и должен ненавидеть, так как через него страдаю по долгу присяги. Приказывают, и идем без сопротивления для принятия ран и даже смерти. А чтобы хотеть мне войны – я ее хотеть не могу, а совсем даже не желаю, прямо тебе говорю. И, главное дело, – вши! Почему я их кормить должен? А между прочим, кормим. Это надо понимать.

На вопрос же профессора «когда вы немцев победите?» Андрей ответил молодцевато:

– Так точно, обязательно скоро их прикончим во славу Отечества. Иначе невозможно.

И покосился на молодого боевого офицера. Тот сказал: «Молодец, пехота!», а Андрей выпалил: «Рады стараться, ваше благородие!»

Все рассмеялись, юнкера позавидовали, а Леночка окончательно решила, что сегодня Стольников интереснее Эрберга.

Андрей, проходя в переднюю, как бы невзначай задел локтем вольноопределяющегося. Дуняше же на кухне заявил:

– Только один и есть наш, заправский; а которые прочие – так, шаркуны, пороху не нюхали.

## Тапер

В углу гостиной, на низком кресле, некрасиво подобрав ноги и сильно горбясь, сидел Эдуард Львович, нечаянно забытый всеми и, конечно, самый неинтересный в этот день человек. Он невольно морщился, слушая, как тапер барабанил по клавишам рояля, и душою болел за инструмент.

Он не мог не прийти на вечер Танюши в такой ее торжественный день (17 лет!). Теперь можно было бы и уйти, не ожидая ужина, но Эдуард Львович не решался.

Из своего уголка он видел мелькавшее платье Танюши, иногда ее прекрасную русскую головку, с гладко зачесанными волосами. Таня расцветает и должна стать крупной и красивой женщиной. Она очаровательна не одной юностью: она по-настоящему хороша. Она так же хороша, как жалок и некрасив сам Эдуард Львович. Она молода, он – скорее старик. Он талантлив, и это не дает ему ни перед кем преимуществ. Даже Вася Болтановский, курносенький, вихрастый, смешной, имеет шанс перед Эдуардом Львовичем, потому что Вася Болтановский молод и смел. Он обнимает Танюшу за талию и кружит по зале. И Танюша близко дышит на Васю. Тапер барабанил по клавишам, и это мучительно.

Вошли в гостиную студент Мертваго, тонкий, старообразный, бритый, и с ним барышня, фамилии которой Эдуард Львович не знал, так как ее просто называли «невестой Мертваго». Она была лишь годом старше Танюши, но уже казалась молодой дамой: спокойная, изысканно одетая, говорили – богатая. Студент Мертваго кончал университет в будущем году. Значит, через год он наденет фрак и будет говорить: «Господа судьи и господа присяжные заседатели», а по вечерам перелистывать деловые обложки с фамилией патрона. Призыв его не коснется – единственный сын. Ему везет, студенту Мертваго!

Но ему Эдуард Львович не завидует. В сущности, и Васе он завидует только сейчас, когда тот танцует с Танюшей. Эрбергу гораздо чаще и больше. Эрберга Эдуард Львович немного боится: Эрберг умен и расчетлив. Но как странно, что он будет офицером и пойдет на войну. Может быть, Эрберг просчитался?

Профессор отыскал композитора:

– Хорошо это, когда молодежь веселится! Шли бы и вы танцевать.

Эдуард Львович потер руки:

– Да. То есть нет. Я уже не могу! Но я смотрю с удовольствием.

– Танюша у нас растет!

«У нас» приобщило к семье и Эдуарда Львовича. Понятно: он – музыкальный воспитатель Танюши. Эдуард Львович покосился на бороду профессора и увидел широкую и радостную улыбку. И тогда он решил, что сейчас уйдет домой. Но никак не мог найти фразы на эту тему и не знал, своевременно ли об этом говорить. И только еще раз потер руками. В эту минуту тапер неприлично сфальшивил и оборвал танец.

Профессор перевел глаза на будущих супругов Мертвого, подошел к невесте, похлопал по плечу студента, не придумал для них ничего, кроме «Ну, так как же? Ага, ну-ну», и грузно направился в столовую, где Аглая Дмитриевна строго осматривала приборы: все ли на месте, верен ли счет, разложила ли Танюша бумажки с фамилиями. С собой Танюша выбрала посадить Васю и Эдуарда Львовича. Старики не ужинали. Однако профессор, подойдя к столику, выпил полрюмки водки и закусил грибом. Это согрело его и развеселило. С некоторой завистью взглянул на накрытый стол, вспомнил о катаре, сказал жене: «Ну, бабушка, ты захопоталась», поцеловал ее сморщенную руку и хотел пройти в кабинет. Но на пороге остановился и вернулся. Опять подошел к старушке:

– Смотрел я, бабушка, на Танюшу нашу. Танюша-то, знаешь, ведь растет у нас, а?

Аглая Дмитриевна посмотрела на мужа, считая в памяти, сколько не хватает вилок. Профессор похлопал ее по щеке, и бабушка забыла счет. Профессор опять сказал:

– Семнадцать, а? Не шутка! Танюше-то нашей. Внучке-то!

И тут доброе лицо Аглаи Дмитриевны озарилось улыбкой. Может быть, вспомнила, что и ей было семнадцать; может быть, вспомнила, сколько нужно еще вилок. И смотрели друг на друга, старенькие такие. И вдруг из глаз профессора, прямо на бороду, упала капля. Смущенный, заспешил, зацепился пуговицей сюртука за старухино кружево, сказал: «Э-тэ-тэ-тэ, какая штука! А я сейчас грибом знаешь, закусил».

И оба, совсем маленькие старикашки, вытирали друг другу глаза. У Аглаи Дмитриевны ротик собрался в морщины, а капля с бороды птичьего профессора попала на сюртук; бабушка замочила в ней руку.

В обход залы, тайком через столовую, бочком в переднюю выбрался Эдуард Львович. Там долго, волнуясь, искал свое пальто в куче шинелей – рыжевато-пальто на клетчатой подкладке. Потом приоткрыл дверь в кухню и униженно попросил:

– Дуняша, вы бы не отказали запереть за мной двери...

– А что, барин, ужинать не останетесь?

– Да. Нет, благодарю вас...

И до самого поворота за угол энергичный тапер преследовал робкого композитора.

## Видения

Солдат Андрей Колчагин, Дуняшин брат, был ранен на войне – очень легко. Пуля чиркнула по его голове, сорвала кусочек белобрысой щетины и улетела дальше; может быть, зарылась в землю, а может быть, в чье-нибудь сердце. Они шли тогда в атаку занимать австрийский окоп. Ничего, заняли. Но Андрея Колчагина подобрали санитары, так как он упал, не то от потери крови, не то от контузии.

Рана зажила скоро, а в лазарете Андрей лежал больше из-за головной боли: не давала она ему покоя. Иной раз выл, иной раз не мог пошевелиться. А как полегчало, получил отпуск. И в Москве, на отдыхе, совсем поправился. Жил нигде, спал у Дуняши на кухне, а она в своей комнате. Питался же с профессорского стола и очень был благодарен. В чем мог, помогал по хозяйству, ходил по поручениям. Отпуск имел месячный.

Одно осталось от болезни – неровный сон, иногда кошмары. Особенно если выпивал лишнее. Вообще же Андрей Колчагин не пьянствовал, так – иногда, в праздник. Да и вина в продаже не было, значит – от случая к случаю.

Проснулся Андрей ночью от своих слов; ясно и браво сказал: «Так точно». И колотилось в левом боку о тонкий тюфяк на полу, как пулемет: не скорей, не тише, и так же громко. И сон сразу улетел.

Он уже к этой болезни привык. Лежал между сном и несном, о чем-нибудь думал. В лазарете вот так лежал рядом с вольноопределяющимся, из господ, и чего только тот не наговорил Андрею: голова замечательная, до всего дошел! И насчет жизни, и про войну – что, может, ее совсем и не нужно, и про разные обманы, – про все говорил смело, потому что у него отрезали ступню, и ему все равно было – нечего жалеть. По тому самому Андрей ему и не очень доверял, тем более что из господ, бывший учитель. Но слушать – слушал.

Теперь Андрей, лежа один, ничего из этих разговоров не мог вспомнить; только вот одно, что, может, войны никакой и не нужно, а только обман. Голову солдату морочат. И вши на фронте едят до невозможности. Все это, однако, за отечество. А почему бани нет? И как затыкает пулемет – вот как сейчас, на левой стороне, под боком: ту-ту-ту...

Затем думал Андрей о сапогах; и вообще о сапогах, и о новых, и франтовских в особенности. Вспоминал разные сапоги, какие видал. За офицерские сапоги (носить в тылу на праздниках) отдал бы он, пожалуй, пол-отпуска. Однако в окопах они совсем ни к чему.

Затем о кухне думал, но немного. Что мыши бегают, что Дуняша во сне сопит носом, что жареным луком пахнет и что не хочется встать и пойти до ветру. А пулемет под боком выводил свою песню, и на лбу Андрея был пот. Что это за болезнь такая, не проходит?

Отчего-то начал думать про своего ротного, – и уж до чего же его не любят солдаты! Другие офицеры – туда-сюда, всякие бывают, а вот ротный зверь и совсем не человек. В деле храбрый, ничего против него не скажешь, ничего и не боится, а вот в ученье или так, – ну не человек, а как волк! Один глаз раскосый, орет на всякого и дерется. Нет хуже офицера, который дерется зря, от злости.

И вот тут начался у Андрея кошмар. Будто ротный бьет Андрея и будто Андрей его тоже бьет. А бьет ни по чему, по воздуху, никак попасть не может. И страшно Андрею, и уж никак нельзя остановиться, все равно пропадать, так уж было бы за что. У самого теперь от злости в груди скачет, из гимнастерки выскакивает. Левой рукой Андрей впихнул обратно сердце, держит, а правой в морду ему, в морду, промежду глаз раскосых, – и все мимо. Выходит – пропадать приходится ни за что; это ему всего обиднее: так и не отведешь душу на офицерской морде с усами. А у ротного кривой глаз еще смеется, никогда раньше не смеивался.

Попробовал Андрей проснуться – слава тебе Господи! Ничего нет, и, однако, стоит он перед взводным, а тот его деревянной ложкой по левому боку: раз-два, аз-два, аз-два; ложка-то казенная, насквозь и прошла. Больно не больно, а обидно. И опять растет злость у Андрея, и опять перед ним ротный и та же скверная история. Схватил его Андрей за горло, под воротником, мнет, а горло мягкое, как тряпка, ничего не выходит. Ротный ворочает глазом, а из горла сипит: «Расстреляю тебя, сукинова сына». Хватъ рукой за ложку и выдернул ее из Андрея вместе с мясом. Ахает Андрей и просыпается опять весь в поту.

Перелег на другой бок. Сосед, вольноопределяющийся, прижал ноздрю, сморкнул и говорит простым голосом: «Вся война ни к чему, а ротного мы сейчас будем на куски». Взял простыню, будто это ротный, и начал рвать и складывать, рвать и складывать. И подумал Андрей: «Вот то-то, сам ты барин, тебе все игрушки». Тут засвистало и – чирк его, Андрея, по голове. Закричал он нехорошее выражение и проснулся опять, уже теперь совсем проснулся.

Было за окном светло. Большая муха звенела в стекло, а голова у Андрея побаливала. Из крана помочил затылок, так и фельдшер советовал, прогулялся до ветру, а на будильнике часов шесть – седьмой. Решил Андрей больше не ложиться – все равно скоро подыматься. Натянул

штаны, накинул гимнастерку и вышел за ворота, где дворник подбирал на мостовой на скребку и сыпал в ящик. А Андрей смотрел, без особого любопытства, но с сочувствием. Хотя был он кавалер, но в дворницкой работе ничего низкого не видел.

Потом постояли, покурили. Дворник сказал:

– Нынче рано поднялся.

– После лазарета сна нет настоящего.

– Сколько ден осталось?

– Завтра последняя неделя пойдет. И опять вшей кормить.

– А как, охота, неохота?

– Чего ж, и там люди. Вот только кабы знать – может, вся эта и война ни к чему.

Дворник, двадцать лет служивший при доме, подумал и авторитетно заметил:

– Это, брат, дело не наше. Нам этого знать нельзя. А как в Расее неприятель, то, значит, и воевать приходится.

Андрей сказал:

– Кровь-то, чай, наша.

– А что такое наша кровь? Кому тебя нужно? Скребком да и в ящик. На том свете разберут.

Голова Андрея побаливала. Все же пошел принести Дуняше охапку дров для плиты.

День был понедельник – тяжелый день. Туго просыпались на Сивцевом Вражке.

## De profundis<sup>8</sup>

Сталь, медь, чугун – таково его крепкое, холеное тело. Его ноги скруглены в колеса, в жилах пар и масло, в сердце огонь. Он стоит неподвижно.

Затем он охает всей грудью и кашляет короткими срывами. Дрогнул он, дрогнула, звякнула, ожила вся цепь вагонов. Над ним клуб дыма, в его груди копошится его нянька, паразит и ласкатель, чернолицый, промасленный кочегар. Еще пищи огню, которым он дышит! И вот он уже далеко.

Громадный, круглогрудый, мощный, – вдали он превратился в головку гусеницы, ползущей по земле. Он приручен и деловито тянет за собой все, что доверено его силе. Охает, насвистывает, спешит, боится потратить лишнюю минуту, улетающим гулом встречает на пути таких же вечных тружеников, везущих свою долю. Все они – железные рабы человека.

В теплушке, перегруженной живыми телами, он увез на фронт рядового Колчагина. Теперь везет в классном вагоне молодых офицеров; среди них расчетливый, неприятно-умный Эрберг, в новенькой форме, серьезный, всегда загадочный для влюбленных Леночек. Эрберг смотрит на стрелки часов и считает стуки поезда.

Две минуты верста – медленно! Окна бегут мимо столбов с пометкой. Большой столб и четыре промежуточных камня с меркой пройденных сажень. Тита-та, та-та-та. А что, если Эрберг не вернется? Расчетливый юноша, вы знаете свою судьбу? Пуля знает свой путь, человек идет грудью ей навстречу, не видя ее полета. А что, если Эрберг вчера в последний раз видел Москву – и башни кремлевские, и Сивцев Вражек? Тита-та, та-та-та. Как это странно! А ведь возможно! Эрберг спрятал часы и застегнул френч.

Толчок. Прирученный гигант остановился, хлебнул воды, разжег новый огонь, вздохнул паром. В вагоны и теплушки спешно карабкались солдаты; за плечами ранцы, в ранцах домашние сухари, у кого и нога баранья. И куда спешить! Ведь там убьют! Вот здесь едет в классном

---

<sup>8</sup> Одна из частей заупокойной католической мессы (*лат.*).



вагоне офицер – а там поле, над полем небо, на поле тело, прорванное осколком; и то тело ехало так же, тем же путем и с надеждами теми же.

Солдат, швырнув в теплушку ранец, карабкался левой коленкой, а правая нога болталась, такой неуклюжий, чистый мужик! Эй, смотри, не опоздай, служивый, с побывки! Поторапливайся, доживай деньки! Получай Георгия за храбрость<sup>9</sup> и ведро извести на гнилые раны, чтобы и рот залепило, чтобы и на том свете не жалобился; сверху бугор земли и общая солдатская панихида. А ранец? А куда же денут твой ранец? Гложи скорее баранью ногу – эх, вы, солдаты, головы бараньи! Но вот ведь и умный человек, расчетливый барин, едет в одну с вами сторону, и везет вас один паровоз. Может быть, мир и действительно сошел с ума? И опять тронулся поезд.

Паровоз отвез этих, а назад вернулся с грузом нежным: коверканные тела человечьи. На десять человек – пятнадцать ног; хватит! У кого дырочка в спине, пониже лопатки, – насквозь, под соском вышло. Кашляет – значит жив. А тот слепой – значит тоже жив; зрячих на земле не осталось.

Входят в поезд дамы с красными крестами, несут чай, махорку, цветы. И тому, что с дырочкой в груди, достался букетик полевых колокольчиков – за чин его офицерский, за молодость и отвагу. А вдруг бы он вскочил и из последних сил – стал душить, душить, бить костылем по красному кресту, по здоровым женским грудям, плюская их деревянным молотом: это за букетик-то! Но улыбаются раненые: у сестер на губах умиление и мед. А так мало меду вкусили молодые воины, которых везет обратно поезд!

Сбыл их, сбросил на конечной станции – и назад без усталости. Теперь тащит груз немалый: пулеметы – убивают, противогазы – чтоб не убили, снаряды – убивать, медикаменты – чтобы не умереть, бомбометы – убивать, повозки – для раненых... Что еще? Мясорубка где ж? Чтобы в одном котле порубить и прожарить сквозь железное сито вместе Ивановы мозги и Петровы сердца? Где сера и смола, чтобы сделать факелы из людских туш, – жить будет светлее? И еще железная кошка с круглыми когтями: заводить в глазные впадины и рассаживать черепную коробку в осколки и ключья. Вместо них везут бинт – перевязывать малую царапину: бедный солдатик щипал лучину и напорол мизинец; занозу вынули, йодом, ватки, сверху бинтом – получилась куколка. А если он возропщет? И вы думали, что солдаты останутся на фронте, когда повеет в воздухе свежим? Да! Мир сошел с ума! От ума приключилось ему злое горе. Но не всякий обязан быть умным: захотелось в цари дураку...

Довез и эту кладь. Везет назад вагон почтовый, – от Миколая Дарье, с поклоном и всем соседям. «А я ничего, здоров». Письмо бежит на колесах, а тот, что писал письмо, кричит вдогонку из-под земли: «Стой, подожди, я помер». К Дарье от Миколая новый приказ: долго жить. А сам Миколай жил недолго, очень недолго, – зарыт в землю по двадцатому году.

Есть и от Эрберга два письма, одно – матери, другое – на Сивцев Вражек. «В деле еще не был, но вообще обо мне не тревожься. Все это не так страшно, как кажется».

И Танюше: «Мой привет Вашему дому. Часто вспоминаю Ваши музыкальные воскресенья. Все это кажется таким далеким... И полон надежды еще не раз услышать, как...»

Полон надежды? О, Эрберг! О, расчетливый Эрберг, вы слышите гудящий свист, – вам еще это не знакомо? О, Эрберг, отклонитесь в сторону, бегите, Эрберг! Бросьтесь на землю, закопайтесь в нее головой, глубже, глубже. Чего вы стыдитесь: солдаты так делают. Ваша поза может стоить жизни, а ведь вы расчетливы. Недолет? Да, но вот опять гудящий свист! О, Эрберг!

В тот день на Сивцевом Вражке Эдуард Львович играл *De profundis*.

---

<sup>9</sup> **Георгия за храбрость** – солдатский Георгиевский крест, вручаемый за личное мужество и считавшийся наиболее почетной наградой.

## Отлет ласточки

Невысоко в небе тучкой летели ласточки из России в Центральную Африку только на зиму, чтобы там переждать холод и опять вернуться.

Родиной их была Россия, она же и страной любимой. На ее полях, под окнами было лучше: пища, приют, любовь; на чужой стороне только отдых. Но на родине слишком мало солнца было зимой, сердце ласточки могло обратиться в кусочек льда; и слишком губительно жгло солнце летом в Центральной Африке, как бы не сгореть от его ласки. Были и другие причины перелета белогрудых птичек, но человеку о них знать не дано, даже тому старому профессору, над окном которого осталось прочное гнездышко из московской глины.

И по пути видели ласточки со своих высот:

По зеленому фону – нити рек и прохладные пятна озер. Как кучки мусора, города и городочки, и вокруг них реже лес, скуднее зелень полей, точно дыма и грязи их чуждается природа, уходит подальше.

Еще видели – низко пролетая – спокойного пахаря за спокойной лошадей и за ним след поднятой земли.

Еще видели быстрый бег поезда по двум нитям железа и ход автомобиля по серой укатанной дороге – но лет ласточек был быстрее.

Еще видели, как огромным червяком ползли отряды солдат с двух сторон к одной границе, где была взрыта земля и где червяки таяли и исчезали.

Случилось, что в небе появилась птица небывалой величины, и грозно, и нудно гудевшая, а вокруг нее мячиком скакали белые и желтые клубочки. В один из таких желтых клубочков, отставших в небе от чудной птицы, влетели несколько ласточек и тотчас, сжавши крылья, комочком упали к земле. И ближние к ним отуманили головки ядом, который человек послал в небо.

Но все это только мелькнуло при быстром лете; с высоты же земля была прежней, и мало на ней заметен человек. Только зелень и серь полей исчертил он прямыми чертами, разметил малыми квадратами.

Летели ласточки над морем и сверху видели море до самого дна. Как малый листок на пруду, ветром гонимый, плыли по морю корабли, один за другим, и малость их на огромном море говорила не о могуществе, а о ничтожестве человека. На один корабль опустили в пути усталые птички. Было темно, глаза их не видели.

Когда утром ласточки поднялись, чтобы лететь дальше, в глубинах морских появилась странная, неуклюжая рыба, подплыла к кораблю, поднялась на поверхность, выплюнула и погрузилась обратно. Тогда содрогнулся воздух с такой силой, что едва не перебил крылышек пернатым путникам. А затем корабль накренился и тихо пошел ко дну. Все это ласточки видели, но не поняли, да и не задумывались, зачем рыба потопила полный людей корабль, мирно шедший по морю.

Затем летели ласточки над песками, зная, что цель их близка, и считая свои потери.

А потери их были страшны. Проводник завел их в пути отдохнуть на берегу Сицилии. И вот с ночи вышли на берег люди с корзинами, сетями и палками и стали избивать малых птичек. Много тогда погибло. Мягкие, вялые птички трупки уносили с берега корзинами; многих потоптали и оставили чернеть на песке, когда уцелевшие птички улетели на рассвете.

К страшному делу людей отнеслись ласточки, как отнеслись бы к урагану или подкравшемуся невзначай убийце-морозу: кто спасся, тот благословлял жизнь и воспевал солнце.

И на пути ласточек блеснул первый оазис, встреченный их веселым чиррр...

## Уход человека

Когда ласточки улетели с берега Сицилии, оставив много мертвых, растоптанных соплеменниц, одна из несчастных, с подбитым крылом, не могла следовать за стаей. Здоровым крылом она била воздух, подбрасывая от земли усталое тело и вытягивая шею в сторону полета подруг. Ее «чиррр» было неслышным шепотом, ее страдание к сумме мирских страданий не прибавило ничего.

Когда солнце поднялось выше, ласточка затащила глаза синеватым пологом и стала часто глотать горячий воздух. Когда снова склонилось солнце, ласточка умерла. Это была та самая, что под окном дома на Сивцевом Вражке три весны подряд устилала новым пухом старое гнездо. Та, что видела человеческую девушку Танюшу с кувшином в руках над голыми плечами, что слаще щебетала для старого профессора, чем кукует его кукушка. Это была та ласточка, что склонилась под самой крышей точившего балку червяка.

И лежал в ложине, поодаль от искрошенного снарядами леса, в ста верстах от своей границы, но на чужой земле – как будто не вся земля наша! – тяжело раненный человек в форме прапорщика. Осколок шрапнели пробил ему грудь, засорив рану клочком бумаги, где красное залило синий штампельный оттиск и ненужное больше слово «Эрберг».

Он был еще жив, неприятно-умный в жизни и расчетливый человек. Но уже не был больше расчетлив и был близок к мудрости. Одним неконтуженным глазом смотрел в мутное от слезы, воспаленное небо, пальцами целой руки скреб в корнях трав. Ухо его ловило стон, слышимый близко, знакомый, свой; а потом стон переходил в хрип, в груди булькало, и чужое тело охватывал уже не первый холод. Было ли живо сознание – знал только тот, чье имя застряло в слипшейся ране.

Мышь, высунув из норы голову, повела усами и скрылась, учуя недоброе. Недоброе могло быть хищной птицей, могло быть голодным волком. Сегодня и птицы и волки будут сыты.

Жук с золоченой спиной, точно и он в офицерском чине, вяло и без дела прополз мимо. Он искал, куда спрятаться на зиму, думая, что выживет, но его часы были сочтены.

Солнце взошло, поднялось, посмотрело хмуро и плавной малой дугой ушло под землю, оставив красный след.

У Эрберга была в Москве мать, старая и робкая женщина. Она не знала, что матерью ей осталось быть не больше часа.

Все это было просто, обычно, одинаково нужно и ненужно. В учете утрат мира – нуль, в учете жизни одного – все. Но все – пока последнее дыхание еще колеблет воздух над сухими синими губами.

И вдруг из точки, где спряталось живое сознание, борясь за себя и не желая гасить свой светильник, – вспорхнула мысль и ласточкой унеслась к небу. Центр мира перестал быть центром, мир потерял опору, закружился и унесся за мыслью. В то же время с легким треском электрической искры в одной бывшей жизни мгновенно порвались все нити мечтаний, сомнений, привязанностей, и все стало ясно, и все стало просто, и мягко зашелестели бристолевские листочки распавшегося карточного домика.

Проще и лучше, чем стало теперь, не мог бы придумать мудрейший человеческий ум. Оставалось только убрать, скрыть землей, общим покровом, оболочку житейской гордыни, тело без имени, рану без боли, бурый кусочек бумаги без реального значения.

Тогда зажглась в небе звезда, оглянула поверхность земли, нашла лежащее тело Эрберга и отразилась в его открытом мертвом глазу, – отразилась бледно и нехотя, как бы по долгу службы и уважения к ушедшему из жизни. Скоро звезду – до завтра – закрыло облако.

## Самый неразумный зверек

Возможно, что военные историки уже установили или могут установить, по чьей команде и чьим легким движением пальцев взвился и разорвался в небе первый снаряд мировой войны.

Возможно, что первый выстрел был слабым ружейным; быть может, это был залп – и нельзя решить, как звали первого братоубийцу.

И точно ли выкупалась в свежей крови первая пуля и раздробил кость осколок первого снаряда, или они, пролетев положенное, смущенно зарылись в землю? Какое бесценное поле для изысканий! Сколько дал бы за этот малый свинец и чугун американский коллекционер!

Как имя первой осиротевшей матери? Поставлен ли ей памятник с фонтаном – фонтаном слез? В чьем альбоме красуется марка первого письма, написанного солдатом с фронта? И первый стон раненого записан ли граммофоном? Вербкой ли задушено или камнем придавлено первое открытое, вслух брошенное проклятие?

Отныне впредь на много лет ничья ищущая мысль, ничье живописующее перо не запашет и не взрастит поля без красных маков войны.

Отошло в далекое прошлое время василька и полевой астры. Земля дышит злостью и сочит кровь.

Там, где не растет красный мак, – там спорынья на колосе и красный гриб под шепчущей осиной. Багряны закаты на море, пылающими струйками стекает кровь по столбам северного сияния. И воспоминанье не черной мухой, а насосавшимся клопом липнет к нечистой совести.

А между тем все это не так, природа не изменилась. В тот день, когда началась европейская война, ни одна травинка в поле, ни один белый цветок, росший зачем – неведомо, не взволновался величию минуты, ни один горный ручей не ускорил светлого бега, ни одно облачко не пролило лишней слезы.

Аисты, не найдя старых гнезд в разрушенных домах, несут детей в соседние села. Яблоко, зарумянив одну щечку, подставляет солнцу другую. Слеп крот, юрка мышь, еж колюч. Неведомо нам, почему пчела точно знает ближний путь по воздуху и жук гудит басовой струной.

«Что со мной?» – говорит, набухая, горошина. «Ух, как трудно!» – поднимает глыбу земли горбатый сочный росток. «Шутка сказать – мы!» – заявляет белый гриб, дождем умываясь. «И мы!» – ему вторит бледная поганка. А купол неба раз навсегда истыкан золотой булавкой.

Лопнула куколка бабочки, и выполз мотылек с примятыми крыльями.

На одной и той же улице умер человек, не отложив дня смерти до развязки событий, и родился младенец, не испугавшись будущего. И в семьях их эти случаи были событием большим, чем великая война.

И вот что еще случилось. Огромным гусиным пером на огромном свитке беглым полуставом старуха писала историю. Когда раздался первый залп, перо дрогнуло и уронило кровавую каплю. Из капли побежал дальше выющийся чернильный червячок, как малая змейка, а седая косма старухи, упавшая на пергамент, размазала каплю на целый локоть свитка.

Когда старуха заметила, она поймала прядь волос, обсосала сухим языком и закинула за ухо. А чернильный червячок бежал дальше, кривляясь, теряя кусочки на запястье, забираясь под строку, раскидываясь скобкой над полуставом. И лгал, белил грех, чернил подвиг, смеялся над святым, разводил желчь слов слезами крокодила. А дьявол за спиной старухи ловил перо за верхний кончик, щекотал старухину жилистую шею, шептал ей в ухо молодые соблазны, потешаясь над ней, как малый ребенок.

Шамкая ртом беззубым, отмахиваясь от дьявола свободной рукой, старуха писала и думала, что пишет правдивую историю. Может быть, так и было. Под утро запел петух, дьявол сгинул, а старуха заснула над красно-грязным свитком пергамента.

Был у старухиной кошки малый серый котенок – плод любви на соседней крыше. Когда старуха заснула, он прыгнул ей на колени, оттуда на стол. На груди пожелтевших от времени бумаг еще догорал светильник. Котенок услышал старухин храп, удивился, нагнул набок мордочку и лапкой тронул старуху за усатую губу.

Как раз в тот момент старуха видела во сне ровную дорогу. На середине пути дорога была перетянута колючей проволокой.

Старуха не заметила и на всем ходу напоролась на колючку верхней губой. Тогда она взмахнула во сне руками, котенок шарахнулся в сторону и опрокинул светильник.

Вылилось масло, вспыхнул пергамент; но сгорел он не весь. Люди мудрые, люди ученые, каждый по-своему, все по-разному подберут позже слово к слову, уголек к уголку. Пропал только верхний кусок свитка, на котором крупными буквами вывела старуха: «Кто виноват». И это на века и века будет предметом спора.

Котенок же от испуга проголодался, побежал к блюдечку и стал лакать молоко, вымочив всю мордочку. Затем, облизываясь, сел посреди комнаты и стал думать о том, что скучно бывает и в молодые годы.

Это был самый неразумный зверек подлунного мира.

## Случай с часами

В старых и любимых часах профессора – часах с кукушкой – давно уже развинтился винтик, на котором держался рычажок, сдерживающий заводную пружину.

В два часа ночи, как всегда, орнитолог перетянул обе гири – темно-медные еловые шишки – и пошел спать. Винтик покосился и ждал.

К трем часам зубчатое колесо едва заметным поворотом накренило винтик, и он выпал. Пружина сразу почувствовала неожиданную свободу и стала раскручиваться; от колеса – ни малейшего сопротивления. Стрелки тронулись и быстро забегали по циферблату; а кукушка, не успев раскрыть рта, в испуге замолкла.

Пока все в доме спали, время бешено летело. Вихрем порошились со стен дома чешуйки штукатурки, лопались скрепы крыши, червячки, мгновенно окукливаясь, делаясь жучками, умирая, размножаясь, точили балку. Постаревшая кошка во сне проглотила сотню мышей, проделавших в полу десятки новых ходов. Ласточка, уже не та, уже другая, не вынув из-под крыла головки, успела дважды побывать в Центральной Африке.

Уже у самой постели бабушки Аглаи Дмитриевны стояла тень в старом саване, косясь на приоткрытую дверь орнитолога, – и румянцем молодой крови оделась грудь спящей Танюши.

На всех фронтах ураганным огнем сметались окопы и жизни. Мяч удачи, храбрости и стратегии летал от врага к врагу. Слезы, не просыхая, образовали ручеек, к которому спускались солдаты с манерками. Валами росли братские могилы, и мертвец бесстрастно дремал на груди мертвеца, которого вчера, не целя, не зная, убил поворотом ручки пулемета.

Когда от залпов вздрагивала земля, кости Ганса плотнее прижимались к костям Ивана и череп с улыбкой спрашивал:

– Мы в безопасности, враг Иван? Наш блиндаж – самый верный.

А Иван отвечал, стуча зубами:

– Двум смертям не бывать, враг Ганс!

И оба, в холоде уютной могилы, смеялись над теми, кого поблизости в окопах лениво ест серая жирная вошь.

Просто и немятежно было тем, кто уже использовал привилегию не жить. Остальные с растущим ужасом смотрели, как душными газами оседает на землю багровый туман будущего, и спешно, боясь опоздать, толкаясь жесткими локтями, бросались на пищу, искали любви, прижимались и рождали потомков, для которых игралась эта великая человеческая комедия.

Исчерпав энергию пружины, часы с кукушкой остановились. Но было уже поздно: ни один человек не может вернуть прошлого. Завтра старый профессор встанет еще постаревшим, не зная, чем объяснить такую слабость: припадком катара? Аглая Дмитриевна в положенный час не оставит постели, а мужу скажет:

– Я полежу нынче. Что-то неможется мне, милый мой. Пошли-ка ко мне Танюшу.

И она уже больше не встанет и не будет сидеть в столовой за самоваром. Когда в воскресенье придет Эдуард Львович, – приоткроют дверь в спальню Аглаи Дмитриевны, чтобы и она могла послушать музыку.

Два года, пробежавшие так быстро, потерянные бабушкой, приобретены внучкой. И, занеся кувшин над голым плечом, Танюша заметит его здоровую округлость и кинет беглый стыдливый взгляд на окно: не видят ли ласточки? Вытираясь новым мохнатым полотенцем, она потянется, напряжется и вздрогнет от нового для нее ощущения силы и желания. И бесстрастное зеркало, изучившее каждую черточку девочки-девушки Танюши, отметит в записях своей зеркальной памяти:

– Числа такого-то родилась женщина.

Под утро дворник Николай, с побелевшими висками, вышел на улицу с метлой и скребком. Перекрестился, посмотрел на небо, деловито перевел взгляд на мостовую, зевнул и начисто усердно подмел вдоль всей стены пыль и чешуйки осыпавшейся штукатурки.

В доме все еще спали; работали только он и ласточка. Но уже дребезжала телега зеленщика, ехавшего на Арбатскую площадь.

## Дядя Боря

За годы мирной жизни каждый нашел свою клетушку, прочно врос в ее стены и выставил на ней свой номер, по которому его и можно было найти. Каждый талант вывешивался и вымерялся. От массы отделилась кучка избранных, и был кучке избранных особый почет.

Поэта отметил перст музы, ученого – признание неучей, артиста – шепот толпы. Головой выше плотника – архитектор, маляр перед художником – пигмей. На одном дереве росли два яблока, но солнце зарумянило одно, червь точил другое. Приказал Господь приказчикам разложить по прилавку жизни человеческий товар – лицом показать: сверху лучшее, под низ поплоче. Ина бо слава солнцу, ина тусклой оплывшей свече.

Но жизнь взбаламучена войной – и все изменилось. Кому нужен космос Эдуарда Львовича? Кому – старый ум птицеведа? Пошатнулось мироздание, птицы разогнаны грохотом орудий. Отврати напряжением глубокой философской мысли полет пули! Рассей чистой поэзией удушье газов! Чугун и медь жаждут безымянного мяса – не время взвешивать мозг. Слава тому, кто нужен сегодня, только на сегодня, новому богу – единому богу войны. И вот тут-то большим человеком стал дядя Боря, сын профессора орнитологии.

Дядя Боря, не отличавший Шопена от Скрябина, дядя Боря, терпимое ничто, рядовой инженер-механик, не хватавший звезд. Ага! Теперь он понадобился, дядя Боря!

Он вставал с первым светом и был на фабрике ко второму свистку. Там, где раньше штамповали пуговицы, теперь он делал полевые телефоны. Вместо плужных ножей теперь он варил иную сталь. На Каме, повыше Перми, он строил подъездный путь до завода суперфосфатов – не ко благу земледелия, оно подождет: в жертву удушливому богу войны. Вместо швейных шпулек он сверлил пулеметный ствол.

Дядя Боря был многолик, был везде, по всей России, во всех странах, всюду – первый, нужнейший человек. Нужнее его был только тугоголовый, с волосатой грудью, с бычачьей шеей высокий генерал прусских войск да два-три опытных, давно приспособленных шпиона. Впрочем, еще врач, смелый молодой хирург, карнавший до колена ногу с оторванной ступней. Но

это лишь для совести нашей – нельзя же жить совсем без совести. Дядя Боря, как и генерал, нужен был для главного: для убийства.

Дядя Боря никого никогда не убил. Собственно говоря, подлинный дядя Боря, Борис Иванович, сын профессора, скромно делал свое дело – руководил работой большого завода, являясь утром, уходя к ночи, заглядывая на завод и в праздник. Но он стал теперь выше тех, кто слушал импровизацию Эдуарда Львовича при полупотушенном свете. Сталь надолго выше их всех, взятых вместе, теперь ведь уже неважно, подлинно ли прямая линия – ближайшее расстояние!

Внезапно выросли люди, которых недавно никто не знал и не хотел признавать. Не те – пушечное мясо (их и сейчас признавали лишь в цифрах), а рангом выше, хотя тоже простые, недалекие, невзрачные, но деятели. Была сейчас их пора: все догадались, что только они и суть настоящие люди.

Дядя Боря, уже почтенного возраста человек, носил теперь френч и стал моложе. Дядя Боря обрил бороду, но оставил полуседые усы. Танюша говорила:

– Дядя Боря, вы стали таким интересным, что я опасюсь за сердце Леночки.

Жена дяди Бори хмурилась, но он был доволен. Он был даже весел. В общем разговоре он не уклонялся, не отходил на второй план. Он выжидал и вставлял слово, и все видели, что дядя Боря не просто имеет мнение, а знает. Раньше просто не догадывались, о чем говорить с дядей Борей, – не о паровых же котлах, И придумывали что-нибудь вроде паровых котлов, но доступное и всем остальным, и всем одинаково неинтересное.

Дядя Боря стал нужен многим и по очень многим делам. Это именно он устроил юриста Мертваго, который только что женился, в Земгор<sup>10</sup>. Мертваго называли теперь земгусаром, но все-таки форма его напоминала военную. Дядю Борю видали в обществе крупных коммерческих тузов; быть может, те старались обойти кругом и использовать видного инженера; могло дело идти и о поставках или в этом роде. Но ни в ком никогда не могло возникнуть сомнений в честности дяди Бори, именно этого дяди Бори, сына орнитолога, дяди Танюши. Другие дяди Бори, делая дело общее, делали дело и свое. Было время такое, когда интерес личный часто совпадал с интересом государственным и общественным. В мирное время это бывает реже, хотя тоже бывает.

Когда, по воскресеньям, Эдуард Львович играл, дядя Боря, во френче, без бороды, садился теперь близ лампы Аглаи Дмитриевны и сидел, освещенный, слушая с удовольствием Скрыбина, которого он принимал за Шопена.

Однажды, когда Эдуард Львович кончил одну из своих импровизаций (ту, где жизнь звуков гаснет сама и слышно, как она угасает), дядя Боря первым громко сказал:

– Чудесно! Вы сегодня в ударе, Эдуард Львович. Очень приятно слушать. А все же надо идти: фабрика меня ждет. У нас сейчас и воскресенья и ночные работы. Гоним на всех парах!

Попрощался и вышел. И больше никто ничего не сказал Эдуарду Львовичу. И больше Эдуард Львович в тот вечер не играл. Так, говорили о разном и разошлись рано.

Ложась спать, Танюша думала об Эдуарде Львовиче. И в первый раз ей пришлось в голову: любил ли кого-нибудь Эдуард Львович? Ведь он не был женат.

И еще подумала: «Какой он несчастный!»

У Танюши была, поверх большой, еще маленькая подушечка, думка, с кружевной оторочкой. Танюша положила на нее голову, немного вбок, так что ухо вмялось в легкий пух. И заснула.

---

<sup>10</sup> **Устроил... в Земгор** – организованный летом 1915 года объединенный комитет Земского и Городского союзов был исключительно тыловой организацией, созданной для помощи правительству в снабжении русской армии. Поэтому слово «земгусарский» имеет иронический смысл.



## Царапина

Друг детства Танюши, любимец орнитолога, Вася Болтановский окончил университет. Сдав последний экзамен, он забежал домой, умылся и посмотрел на себя в зеркало.

За время экзаменов похудел, зато глаза веселые. Как был, так и остался вихрастым. Усы ничего, бородка дрянь, совершенная дрянь. Пиджак тоже дрянь – единственный штатский наряд Васи. А экзамены, черт побери, все-таки кончены, с ними и студенчество кончилось. Это – здорово! Вася попробовал покрутил ус, но в зеркале получалась полная чепуха. Он немножко смутился.

Делать аб-солю-тно нечего. Как-то сразу стало нечего делать. Вася оставлен при университете – значит, впереди работы много. А пока решительно нечего делать, нелепость какая! Не заказать ли визитные карточки? Или сбрить бороду?

Вася закрыл рукой бородку до губы; получилось ничего себе. После экзаменов осталось ощущение нечистоты какой-то, чернильно-книжной пыли. Маникюр сделать? Ну, это уж ерунда, а вот бороду...

Парикмахер, намазав Васе физиономию, рассудительно заметил:

– Действительно, по качеству лица – ни к чему бородка. Подбородок же у вас явственно с ямочкой, и скрывать не приходится; в известном смысле украшение. Головку повыше-с, еще немножечко! С фронта как будто о победах слышно...

Обедал Вася в столовой Троицкой, в конце Тверского бульвара. Всех знал, кто там обедает. И горбатенького господина с кокардой, и армянку из консерватории, и несчастных супругов, начинавших шепотом ссору за вторым блюдом, и приват-доцента с галстуком фантазии. И конечно, Анну Акимовну, которая, сидя у окна налево, съедала за обедом десять ломтей хлеба.

Съев борщ, Вася попросил поросенка, но только, если можно, окорочок. Дали окорочок, заливной, к нему хрен в сметане. Выпил Вася и кувшинчик хлебного квасу. Съел и кисель с молоком – все по-праздничному. Когда обтирал губы салфеткой (своей, на кольце метка), вспомнил, что борода сбрита. Так приятно – гладко! И свежесть за ушами – простриг парикмахер.

И по бульварам Вася зашагал к Сивцеву Вражку. Помахивал толстой тростью, смотрел на встречающих со смелой радостью. Ибо сегодня Вася настоящий, окончательно взрослый человек. Встречных студентов жалел любовно: сколько им еще трепаться!

На повороте с бульвара встретила приятная барышня, подарила взглядом. Вася тоже подарил – и заторопился на Сивцев Вражек, чтобы скорее увидеть профессора и... Танюшу. Впрочем, профессора сейчас дома нет, он все еще экзаменует.

Милый особнячок. А и стар же ты! Раньше Вася не замечал, а сегодня, сбрав бородку, сразу заметил. Стоял особнячок профессора прямо, – а как будто и слегка вкось. Ворота явно покосились. И много облупилось штукатурки.

Танюшино окно наверху, оно открыто. И Вася, отступив на середину дороги, запел плохим тенорком:

– Ви роза, ви ро-о-о-за...

Танюша выглянула в окно:

– Идите, Вася, я открою. Сдали?

– Сдал все. Свободный гражданин.

– А борода где? Зачем это вы?

Вася подумал: «То есть как зачем?» – и подошел к крыльцу. Дверь открылась, и Вася тотчас догадался, что он с самых юных лет отчаянно и окончательно влюблен в Танюшу, и бесповоротно, что, впрочем, и неудивительно, так как лучше, милее, ближе и красивее ее никогда никого на свете не было и не будет. Если раньше это как-то не приходило ему в голову, то

сейчас в этом не остается сомнений. Упасть на колени и вползти за Танюшей вверх по лестнице или что-нибудь в этом роде, выразить как-нибудь. Она такая строгая, белая кофточка, воротничок, а он умирает от любви.

Когда Танюша, протянув руку, сказала: «А знаете, Вася, так вам гораздо, ну гораздо лучше!» – Вася совсем переполнился чувством, сел на ступеньку лестницы и заявил, что дальше он ни шагу не двинется, что или Танюша погладит его по голове, или он тут же умрет немедленно.

Она не погладила, он не умер, и оба поднялись наверх в Танюшину комнату. Здесь стало полегче. Зеркало посмотрело на Васю без его жалкой бородки и подумало: «Эге, а ведь он действительно влюблен».

– Как бабушка?

– Бабушке сегодня лучше, но вообще плохо.

– Профессора еще нет?

– Дедушка на экзаменах. Вы его непременно дождитесь, он о вас спрашивал. Что вечером делаете?

Хорош вопрос! Васе вообще нечего делать, ни вечером, ни все лето.

– Ничего не делаю.

– Останетесь у нас? Оставайтесь, я сегодня тоже свободна.

Вошла кошка. Вася схватил ее за шиворот, поднял к лицу, и кошка оцарапала его свежebритый подбородок. Вася бросил кошку, обтерся платком и сказал:

– Вот проклятая зверуха! Танюша, а я люблю вас прямо как собака...

И покраснел, не зря подумав, что сказал глупость. Сказал бы просто «я вас люблю», а тут зачем-то приплел собаку.

Всегда правдивый, он поправился:

– Таня, я собаку приплел тут зря. А я просто, без собаки, действительно до чертиков...

Вышло еще нелепее. Но, конечно, если бы хотела понять – поняла бы. Но она сказала спокойно:

– А вы лучше одеколоном... Покажите-ка. Да она вас сильно оцарапала! Ну, и сам виноват...

Не сбрей бороду Вася – не заметна была бы царапина. Вот нашел время бриться! И больно. Любовь Васи начала утихать.

Сели рядышком на кушетке. Говорили о том, как каждый проведет лето. Пожалуй, из-за бабушкиной болезни придется остаться в городе. Вспоминали об общих знакомых, кто сейчас на войне. Эрберг погиб давно – был первым близким из убитых. Были и еще. И сейчас на фронте много старых друзей. Стольников редко, но все же пишет, – хороший он, Стольников! Леночка – сестра милосердия, но не на фронте, а в Москве; летом на дачу тоже не едет. Леночка много говорит о раненых и влюблена в нескольких докторов. Белый костюм с красным крестом к ней очень идет.

– Знаете, Вася, а я бы не могла. То есть могла бы, конечно, но это... как бы сказать... Как-то не для меня... я не знаю...

Танюша сегодня серьезная; тоже устала от экзаменов. Сошли вниз, в столовую. Вернулся профессор, проголодавшийся, обнял Васю, поздравил. Пока дедушка обедал, Танюша по просьбе больной старухи, лежавшей в спальне, сыграла ее любимое. Бабушка угасала без больших страданий, даже без настоящей большой болезни, но как-то так, что всем был ясен ее скорый конец. Силы жизненные в ней исчерпались, потихоньку уходила. Насколько можно – к этому даже привыкли. За месяцы ее болезни сильно стал горбиться и профессор, но крепился.

Вечером к Танюше зашла подруга, консерваторка. Вася гадал им:

– На сердце трефовая восьмерка, а скоро получите червоное письмо.

Консерваторка была довольна, она ждала письма.

После Танину подругу провожал домой. И, оставшись один, не знал, в кого же он, собственно, влюблен, в Танюшу или в ее приятельницу? Все-таки решил: в Танюшу! Хотя это странно – ведь с детства ее знает, совсем были как брат с сестрой. Но, решив, опять пожалел, что приплел зачем-то собаку:

– От смущения!

Вернулся домой, в Гирши. На столе груда книг и немытая чашка. В остатках жидкого чая – несколько мух и желтый окурок. Завтра нужно отдать прачке белье. И вообще нужно куда-нибудь на лето уехать. К родственникам решил забежать завтра; надо все же.

И внезапно – как днем будто бы любовь к Танюше – встала перед ним жизнь. Юность кончена – начинается путь новый и трудный. Может быть, и правда – понадобится попутчица жизни? Кто же? Танюша? Друг детских лет? Подумал о ней теперь уже с настоящей нежностью. Подумал и самому себе признался с удивлением, что Танюши он совершенно не знает. Раньше знал, теперь не знает.

Это было открытием. Как это случилось? И еще одно: он все еще мальчик, а Таня – женщина. Вот что проглядел он за книгами.

От смущенья хотел потрепать бородку, – но был гладок подбородок, а на нем царапина.

Не любить Танюши нельзя, ну а любить ее по-особенному, как в романах, ему, Васе Болтановскому, тоже нельзя. Ну как же это может быть; даже как-то нехорошо, неудобно!

Это было очень грустно. Тогда он взял книжку и зачитался, пока не стали слипаться глаза.

Вася Болтановский был обладателем счастливой способности: он спал как сурок и просыпался свежим, как раннее утро. Поэтому он любил жизнь и не знал ее.

## За шторами

На столе у двери сидела кошка, вчера оцарапавшая бритый подбородок оставленного при университете. Не цапай за шиворот! Кошка облизывалась и скучала. Вышла крупная ночная неудача: старая крыса, знаменитая старая крыса подполья, ушла от ее когтей.

Ушла сильно помятой. Уже была в лапах... и как это только могло случиться? Никакого вкуса в старой крысе нет, и не в том дело. Но как это могло случиться? В кошке было оскорблено самолюбие охотника. В таких случаях она скучала, зевала и глаза ее тухли: глаза, обычно горевшие в темноте зеленым светом.

Устроившись удобно, но не подгибая передних лап, чтобы оставаться в боевой готовности, кошка стала дремать, оставив бодрствовать только уши. До света еще часа два.

Старая крыса все еще дрожала от пережитого ужаса. Забившись в самую тесную щель подполья, она зализывала раны. Не сами раны опасны, но нельзя, чтобы их заметили молодые крысы. Будут следить, ходить по пятам и при первой слабости загрызут. Вот что всего опаснее. Не пощадят седых волос и облысевшей спины. Проклятая ночь выдалась сегодня!

Над постелью Аглаи Дмитриевны наклонилась длинная, худая фигура в сером. Протянула руку и острым ногтем надела под одеялом сосок дряблой груди. Бабушка ахнула и застонала от боли.

Смерть постояла у постели, послушала старухин стон и отошла в уголок. Вот уже второй месяц она дежурит у постели Танюшиной бабушки, оберегает ее от соблазна жизнью, готовит к приятию пустоты. Когда засыпает сиделка, смерть подает старухе пить, прикрывает ее одеялом, любовно подмигивает ей. И старушка, не узнавая смерти, слабеньким голосом говорит ей: «Спасибо, родненькая, вот спасибо!»

А когда старуха засыпает, смерти хочется поозорничать: откинет одеяло, щипнет старуху в бок, костяшками ладони закроет ей рот, чтобы стеснилось дыхание. И тихонько смеется, всхлипывая и обнажая гнилые зубы.

К утру смерть тает, забивается в складки одеяла, в комод, в щели окон. Если кто-нибудь быстро откинет одеяло или выдвинет ящик комода – все равно не найти ничего, кроме соринки или мертвой мухи. Днем смерти не видно.

Старую крысу окружили молодые: смотрят черными шариками, слушают ее повизгивания. Она скалит зубы, и дрожит ее длинный хвост. Пошевелится – и полукруг крысенок сразу делается шире; боятся старой: есть еще в ней сила. Но глаз не отводят, смотрят на зализанную шерсть, где видно красное, откуда сочится капля.

Слышит визг крысы и кошка и шевелит ухом. Но все тихо, все в доме спят. Крысы напуганы, не выйдут сегодня.

Старуха тянется рукой к ночному столику, к стакану с кисленьким питьем. Костлявая рука помогает, и на минуту сталкиваются два сухих сустава – старухи и ее смерти. Идет по руке холодок.

– Ох, смерть моя, – стонет Аглая Дмитриевна.

«Здесь я, здесь, лежи спокойно», – говорит худая в сером. И утешает старуху: «Ничего там нет, и бояться нечего! Свое время отжила, чужого веку не заедай. В молодые годы веселилась, танцы танцевала, платья красивые носила, солнышко улыбалось тебе. Разве плохо жила? А старик твой – разве не счастлива с ним была? А дети твои – разве не было от них радости?»

– Сына-то рановато прибрала, отца Танюшиного, – жалуется Аглая Дмитриевна.

«Сына прибрала, понадобилось; а зато внучку оставила вам, старикам, на радость и утешенье».

– А как же ей жить без нас? Тоже и старик не вечен. «Ну, старик еще поживет, старик крепкий. Да и она совсем стала большая. Девушка умная, не пропадет».

– А мне как без него на том свете? А ему как без меня на этом оставаться? Сколько вместе прожили.

Тут смерть смеется, даже всхлипывает от удовольствия, но беззлобно:

«Вот о чем думаешь! Тебе какая забота – лежи в могиле, отдыхай. Обойдутся и без тебя, ничего. От больной-то, от старой, какая радость? Что от тебя, кроме помехи? Пустяки все это!»

Слышно, как в кабинете кукушка кукует четыре раза. За окном, пожалуй, светло, но закрыто окно тяжелыми шторами.

– Ох, смерть моя, – стонет Аглая Дмитриевна.

– Подушечку поправить надо, – говорит сиделка. – Все сбилось.

Поправляет подушки и опять садится дремать в кресле у постели.

Проник свет в подвал. Крысенята разбрелись по закоулкам. Задремала и старая раненая крыса. Кошка на окне лениво ловит большую сонную муху. Поприжмет и оставит; та опять ползет. Время летнее – уже совсем светло.

Видит Танюша под утро третий сон; и опять Стольников, веселый, довольный, смеется.

– В отпуск? Надолго?

Стольников радостно отвечает:

– Теперь уж навсегда!

– Как навсегда? Почему?

Стольников протягивает руку, длинную и плоскую, как доска; на ладони красным написано: «Бессрочный отпуск».

И вдруг Танюше страшно: почему «бессрочный»? А недавно писал, что скоро повидаться не придется, так как от командировки отказался. «Сейчас уехать с фронта нельзя, да и не хочется; время не такое».

Стольников вытирает руку платком; теперь рука маленькая, а красное сошло на платок. Танюша просыпается: какой странный сон!

Только шесть часов. Танюша закинула руки и заснула снова. Полоса света через скважину в шторах пересекла яркой лентой белую простыню и столбиком стала на стене над постелью.

Отбился волос и лежит на подушке отдельно. На правом плече Танюши, пониже ключицы, маленькое родимое пятно. И ровно, от дыхания девушки, приподымается простыня.

## Пятая карта

Стольников нащупал ногой выбитые в земле ступени и спустился в общую офицерскую землянку под легким блиндажом. Внутри было душно и накурено. На ближней лавке доктор играл в шахматы с молодым прапорщиком. У стола группа офицеров продолжала игру, начавшуюся еще после обеда. Стольников подошел к столу и втиснулся между играющими.

– Ты два раза должен пропустить, Саша. Ты играть будешь?

– Буду. Знаю.

Когда круг стал подходить к нему, он, потрогав в кармане бумажки, сказал:

– Все остатки. Сколько тут?

– Вам сто тридцать, с картой.

– Дайте.

Глаза играющих, как по команде, переходили от карты банкмета к карте Стольникова, который сказал:

– Ну-ну, дайте карточку.

– Вам жир, нам... тоже жир. Два очка.

– Три, – сказал Стольников и протянул руку к ставке.

Карты перешли к следующему.

Война прекратилась. Вообще исчезло все, кроме поверхности стола, переходящих из рук в руки денег, трепаной «колбасы» карт. Никогда Стольников не был студентом, не танцевал на вечере Танюши, не превращался из свежего офицера в боевого капитана с Георгием, не был вчера в опере и не вернется в тыл. Табачная завеса отрезала мир. Закурил и он.

– Твой, Саша, банк.

– Ну вот вам, ставлю весь выигрыш. Для начала... девятка. Не снимаю. Вам тройка, мне – опять девять. В банке триста шестьдесят. Тебе – половина, вам сто; тебе, Игнатов, остатки? Эх, надо бы еще раз девятку... Ваша... нате, берите.

Стольников передал «машинку», сделанную из гильзовой коробки «Катыка». Играли десять человек, теперь придется ждать. Глаза всех перешли на руки его соседа слева. Уши слышали:

– Чистый жир... вот черт! По шести? – Нет, у нас только по семи. Снимаю половину. Куда ты зарываешься! То есть ни разу третьей карты! – У меня и второй не было... Надо переломить счастье.

Ломали счастье, бранили «гнилую талию», пробовали пропустить два банка, рассовывали бумажки по карманам френча (на крайний случай). Приходила четвертая карта – и человек возвышался, делался добрее, лучше, соглашался дать карту на запись. Затем в три больших понта его деньги утекли, и он нервно щупал отложенную «на крайний случай» бумажку.

Прапорщик в конце стола пропускал и банк и понт. К нему уже не обращались.

– Прогорел?

– Начисто.

– Это, брат, бывает. Полоса такая.

– У меня всегда такая полоса.

Но не уходил. Смотрел. Как будто счастье могло свалиться на голову и неиграющего. Или... кто-нибудь разбогатеет и сам предложит займы; а просить не хочется.

Стольникову везло.

– Мне второй день везет. Вчера в деле, сегодня в картах.

При словах «в деле» на минуту все очнулись, но только на минуту, и это было неприятно. Никакой иной жизни, кроме этой, не должно быть.

Вошел солдат, сказал:

– Гудит, ваше благородие.

– Немец? Иду. Ведь вот черт, как раз перед моим банком.

– Задайте ему жару, Осипов!

Артиллерист вышел, и никто не проводил его взглядом. Когда он выходил из двери, снаружи послышался давно привычный шум далекого мотора в небе. Через несколько минут громынуло орудие.

– Осипов старается. И чего немцы по ночам летают?

Бухнуло. Это был ответ немецкого летчика. Но Осипов уже нащупал врага на небе: слышно туканье пулеметов. Бухнуло ближе. Все подняли головы.

– А ну его к... Дай карточку. Семь. Продавай банк, а то сорвут после семерки. Ну, тогда дай карточку...

Бухнуло со страшной силой совсем рядом с землянкой. Опрокинулась свечка, но не потухла. Офицеры вскочили с мест, забирая деньги. С потолка посыпалась сквозь балки земля.

– Черт, едва не угодил нам в голову. Надо выйти посмотреть.

Стольников громко сказал:

– Банк, значит, за мной, я недодержал!

Офицеры высыпали наружу. Прожектор освещал небо почти над самой головой, но полоса света уже отклонялась. Орудие грохотало, и пулемет трещал непрерывно. Офицер постарше сказал:

– Не стойте кучкой, господа, нельзя.

– Он уж улетел.

– Может вернуться. И стаканом двинет.

Яма от взрыва была совсем рядом. К счастью, жертв никаких, немец напугал впустую.

Стольников вспомнил, что папиросы кончились, и пошел к своей землянке. Дойдя до нее, остановился. Небо было чисто на редкость. Луч прожектора проваливался в глубину и теперь вел врага обратно – едва светлевшую точку на темном фоне. Бухнуло снова – первую ногу чугунную поставил на землю небесный гигант. Близко упал стакан ответного выстрела.

«Почему не страшно? – подумал Стольников. – А ведь легко может убить! В деле – да, там жутко, но там и думать некогда. А эти игрушки с неба...» Затем он вспомнил: «А банк за мной. Четыре карты побил. Оставляю все. Хорошо бы побить пятую... Это будет здоровый куш!»

И ему представилось, как он открывает девятку. Невольно улыбнулся.

Когда ударил последний подарок немца, офицеры инстинктивно бросились к блиндажу. Слушали у двери, как удаляется шум мотора и замирают пулеметы. Потом все стихло, и они вернулись к столу. По-видимому, немец, отлично нащупав расположение запаса, все же сыграл впустую, только молодых солдат напугал.

– Осипов вернется. Где ему подстрелить эту птицу!

– Слишком высоко летел.

– Сядем, что ли? Чей банк?

– Стольникова. Он четыре карты побил.

– А где Стольников? Будем его ждать?

– Надо подождать.

Кто-то сказал:

– Он за папиросами пошел, сейчас вернется.

Вбежал вестовой: к доктору.

– Ваше высокоблагородие, господина капитана Стольникова ранили.

И, опустив руку от козырька, первому выходящему прибавил потише:

– Ножки им, почитай, совсем оторвало, ваше благородие! Немечкой бонбой...

## Минута

Темная ночь окружила домик и давит на старые его стены. Проникла всюду – в подвалы, под крышу, на чердак, в большую залу, где у дверей сторожит кошка. Полумраком расплзлась и по бабушкиной спальне, освещенной ночником. Только Танюшино открытое светлое окно пугает и гонит ночь.

А тихо так, что слышно тишину.

С ногами в кресле, закутана пледом, Танюша не видит строк книг. Лицо ее кажется худеньким, глаза смотрят вперед пристально, как на экран. На экране тихо проходят картины бывшего и не бывшего, с экрана неподолгу смотрят на Танюшу люди, и чертит рука невидимые письмена мыслей.

Мелькнул Вася Болтановский с поджившей царапиной, Эдуард Львович перевернул ноты, Леночка с красным крестом на белоснежном халате и дугой удивленных бровей под косынкой. И фронт: черная линия, шинели, штыки, неслышные выстрелы. Рука на экране чертит: давно не было писем от Стольников. И сама она, Танюша, на экране: проходит серьезная, как чужая.

И опять туман: это – усталость. Закрывает глаза, открывает: все предметы подтянулись, стали на прежние места. Когда пройдут минуты и часы молчания, что-то родится новое. Может быть, стук пролетки, может быть, крик или только шорох крысы. Или в переулке хлопнет калитка. И мертвая минута пройдет.

Снова на экране Вася с бритым подбородком. Он ломает спичечную коробку и говорит:

– Принимая во внимание, что вы, Танюша, все равно выйдете замуж, интересно знать, вышли ли бы вы за меня? Раз, черт возьми, все равно выходить.

Щепочки летят на пол, и Вася их подымает по одной, – чтобы не поднять сразу головы.

– Ну, а нет, Танюша, серьезно. Это до глупости интересно...

Танюша серьезно отвечает:

– Нет.

Подумав еще, прибавляет:

– По-моему – нет.

– Так-с, – говорит Вася. – Ясное дело. Здоровая пощечина, черт возьми! А почему? Мне уж-ж-жасно интересно.

– Потому что... как-то... почему за вас, Вася? Мы просто знакомы... а тут вдруг замуж.

Вася не очень естественно хохочет:

– А вы непременно за незнакомого? Это ловко!

Вася ищет, что бы еще поломать. От коробки осталась одна труха.

Танюша хочет пояснить:

– По-моему, замуж, это – кто-то является... или вообще становится ясным, что вот с этим человеком нельзя расстаться и можно прожить всю жизнь.

Вася старается быть циником:

– Ну уж и всю жизнь! Сходятся – расходятся...

– Я знаю. Но это – если ошиблись.

Вася мрачно ломает перышко.

– Все это – суета сует. Ошиблись, не ошиблись. И вообще – к черту. Я-то лично вряд ли женюсь. Свобода дороже.

Танюша ясно видит, что Вася обижен. Но решительно не понимает, почему он обижен. Из всех друзей он – самый лучший. Вот уж на кого можно положиться.



Вася тает на экране. Тень «того, кто является», скользит в тумане, но не хочет вырисоваться яснее. И было бы бесконечно страшно, если бы явился реальный образ, с глазами, носом, может быть, усами... И был бы он совсем незнакомый.

И вдруг Танюша закрывает глаза и замирает. По всему телу бежит холодок, грудь стеснена, и рот, вздрогнув, полураскрывается. Так минута. Затем кровь приливает к щекам, и Танюша холодит их еще дрожащей рукой.

Может быть, это от окна холодок? Какое странное, какое тайное ощущение. Тайное для тела и для души.

Экран закрыт. Антракт. Танюша пробует взяться за книжку:

«Приведенный отрывок достаточно красноречиво...»

Какой «приведенный отрывок»? Отрывок чего?

Танюша листает страницу обратно и ищет начальные кавычки. Она решительно не помнит, чьи слова и с какой целью цитирует автор.

На лестнице шаги сиделки:

– Барышня, сойдите к бабушке...

## Смерть

В подполе огромное событие: старая крыса не вернулась. Как ни была она слаба, все же ночами протискивалась в кладовую через отверстие, прогрызенное еще мышиним поколением, теперь совершенно исчезнувшим из подполья.

В кладовой стояли сундуки, детская колясочка, были грудой навалены связки старых газет и журналов – поживы никакой. Но рядом, через коридор, была кухня, под дверь которой пролезть не так трудно. В другие комнаты, особенно в ту, большую, крыса не ходила, помня, как однажды уже попала в лапы кошке. На заре старая крыса подполья не вернулась. Но чуткое ухо молодых слышало ночью ее визг.

Когда утром Дуняша вынесла на помойку загрызенную крысу, дворник сказал:

– Вон какую одолел! Ну и Васька! Ей все сто годов будет.

Годами крыса была моложе человеческого подростка. Возрастом – заела век молодых.

К кофе никто не вышел. Профессор сидел в кресле у постели Аглаи Дмитриевны. Сиделка дважды подходила, оправляла складки. Танюша смотрела большими удивленными глазами на разглаженные смертью морщины восковой бабушки. Руки старушки были сложены крестом, и пальчики были тонки и остры.

Сиделка не знала, нужно ли вставить челюсть, – и спросить не решалась. А так подбородок слишком запал. Челюсть же лежала в стакане с водой и казалась единственным живым, что осталось от бабушки.

По бороде профессора катилась слеза; повисла на завитушке волоса, покачалась и укрылась вглубь. По тому же пути, но уже без задержки, сбежала другая. Когда дедушка всхлипнул, Танюша перевела на него глаза, покраснела и вдруг припала к его плечу. В этот миг Танюша была маленьким молочным ребенком, личико которого ищет теплоты груди: в этом новом мире ему так страшно; она никогда не слушала лекций по истории, и мысль ее лишь училась плавать в соленом растворе слез. В этот миг ученый орнитолог был маленьким гномом, отбивавшимся ножками от злой крысы, напрасно обиженным, искавшим защиты у девочки-внучки, такой же маленькой, но, наверно, храброй. И полмира заняла перед ними гигантская кровать нездешней старухи, мудрейшей и резко порвавшей с ними. В этот миг солнце потухло и рассыпалось в одной душе, рушился мостик между вечностями, и в теле, едином-бессмертном, зачалась новая суетливая работа.

У постели Аглаи Дмитриевны остались два ребенка, совсем старый и совсем молодой. У старого ушло все; у молодого осталась вся жизнь. На окне в соседней комнате кошка облизывалась и без любопытства смотрела на муху, лапками делавшую туалет перед полетом.

Событие настоящее было только в спальне профессорского домика в Сивцевом Вражке. В остальном мире было все благополучно: хотя тоже пресеклись жизни, рождались существа, осыпались горы, но все это делалось в общей неслышной гармонии. Здесь же, в лаборатории горя, мешалась мутная слеза со слезой прозрачной.

Только здесь было настоящее.

Бабушка умерла любимой.

...земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, яко же повелел еси, создавый мя и рекий ми: яко земля еси и в землю отыдеши, амо же вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуйа...<sup>11</sup>

## Ночь

Два крыла распластала ночная птица над домом старого вдового птичьего профессора. И закрыла звездный блеск и лунный свет. Два крыла: оградить его от мира, почтить великую старикову печаль.

В кресле, удобно просиженном, в ореоле седин, затененных от лампы, – и тихо-тихо кругом, от здешней думы до границ Мира, – сидит старый старик, на тысячи лет старше вчерашнего, когда еще слабым дыханьем цеплялась за жизнь Танина бабушка, Аглая Дмитриевна. А в зале, где блестящими ножками смотрит рояль на у гроба горящие свечи, ровным внятным голосом, спокойным ручьем льет монахиня журчащую струю слов важных, ненужных безмолвной слушательнице под темной парчой. И плотно придвинут к носу подбородок покойной.

Весь в памяти профессор, весь в прошлом. Смотрит вглубь себя и почерком мелким пишет в мыслях за страницей страницу. Напишет, отложит, вновь перечтет написанное раньше, сошьет тетрадки крепкой суровой ниткой – и все не дойдет до конца своей житейской повести, до новой встречи. Не верит, конечно, в соединение в новом бытии – да и не нужно оно. А в небытии уже скоро оно будет. Считаны годы, дни и часы – и часы, и дни, и годы уходят. Ибо прах ты – и в прах возвратишься.

Стены книг и полки писаний – все было любимым и все плод жизни. Уйдет и это, когда «она» позовет. И видит ее молоденькой девушкой – ямочкой на щечке смеется, кричит ему поверх ржаной полосы:

– Обойдите кругом, нельзя мять! А я, так и быть, подожду.

И пошли межой вместе... а где и когда это было? И чем – не светом ли солнечным так запомнилось?

И вместе шли – и пришли. Но теперь не подождала – ушла вперед. И опять он, теперь стариковской походкой, обходит полосу золотой ржи...

Вошла Танюша в халатике и спальных туфлях. Нынче ночью не спят. Ночная птица над домом огородила деда и внучку от прочего Мира. В этом маленьком мире печаль не спит.

– Без бабушки будем теперь жить, Танюша. А привыкли жить с бабушкой. Трудно будет.

Танюша у ног, на скамеечке, головой у дедушки на коленях. Мягкие косы не заколола, оставила по плечам.

– Чем была бабушка хороша? А тем была хороша, что была к нам с тобой добрая. Бабушка наша; бедная.

И долго сидят, уже выплакались за день.

---

<sup>11</sup> ...Земнии убо от земли создахомся... – фрагмент надгробной молитвы «Сам Един еси Бессмертный сотворивый и создавый человека...» (Псалтирь. Последование по исходе души от тела. Песнь 6. Икос.).

– Спать-то не выходит, Танюша?

– Мне, дедушка, хочется с вами посидеть. Ведь и вы не спите... А если приляжете, хоть на диван, я все равно около посижу. Прилегли бы.

– Прилягу; а пока ссиделся как-то, может, так и лучше.

И опять долго молчат. Этого не скажешь, а вдвоем мысль общая. Когда через стены доносятся журчанье словесных монахини струй, видят и свечи, и гроб, и дальше ждут усталости. Так добра к ним обоим была бабушка, теперь лежащая в зале, под темной парчой, – и вокруг пламенем дрожащие свечи.

Входят в мир через узкую дверь, боязливые, плачущие, что пришлось покинуть покоящийся хаос звуков, простую, удобную непонятливость; входят в мир, спотыкаясь о камни желаний, и идут толпами прямо, как лунатики, к другой узкой двери. Там, перед выходом, каждый хотел бы объяснить, что это ошибка, что путь его лежал вверх, вверх, а не в страшную мясорубку, и что он еще не успел осмотреться. У двери – усмешка, и щелкает счетчик турникета.

Вот и все.

Сна нет, но нет и ясности образов. Между сном и несном слышит старик девичий голос по ту сторону последней двери:

– Я подожду здесь...

Пойти бы прямо за ней, да нельзя рожь мять. И все залито солнцем. И спешит старик узкой межой туда, где она ждет, протянув худые руки.

Открыл глаза – и встретил большие, вопрошающие лучи-глаза Танюши:

– Дедушка, лягте, отдохните!

## Сапоги

Дворник Николай сидел в дворницкой и долго, внимательно, задумчиво смотрел на сапоги, лежавшие перед ним на лавке.

Случилось странное, почти невероятное. Сапоги были не сшиты, а построены давно великим архитектором-сапожником Романом Петровым, пьяницей невероятным, но и мастером, каких больше не осталось с того дня, как Роман в зимнюю ночь упал с лестницы, разбил голову и замерз, возвратив куда следует пьяную свою душу. Николай знал его лично, строго осуждал за беспробудное пьянство, но и почтительно удивлялся его таланту. И вот, сапоги Романовой работы кончились.

Не то чтобы кончились они совсем неожиданно. Нет, признаки грозящей им старости намечались раньше, и не один раз. Три пары каблуков и две подошвы переменил на них Николай. Были на обеих ногах и заплаты в том месте, где на добром кривом мизинце человека полагается быть мозоли. Одна заплатка – от пореза сапога топором; Николай едва не отхватил тогда полпальца, да спасла крепкая кожа. Другая заплатка на месте, протершемся от времени. И каблуки и подошвы менял еще сам Роман. В последний раз он поставил Николаю на новый каблук такую здоровенную подкову, что обеспечил целостность каблука на многие годы вперед. И в подошвы набил по десятку кованых гвоздей с толстыми шляпками, а сбоку приспособил по чугунной планке. Стали сапоги пудовыми, тяжелыми, громкими, – но с тех пор о сносе их Николай забыл думать.

И как это случилось – неизвестно, но только пришлось однажды в день оттепели сменить валенки на сапоги. Николай достал их из ящика близ печки, где они лежали, аккуратно с осени намазанные деревянным маслом, чтобы не треснула кожа. Достал – и увидел, что подошва на обеих ногах отстала, на одной совсем, на другой поменьше, а среди гвоздяных зубьев была одна труха, и была дыра сквозная. Николай погнул подошву – и дыра пошла дальше, без скрипу. И тут он увидел впервые, что и голенище так изнашивалось, что просвечивает, а тыкнешь покрепче пальцем – получается горбик и не выправляется.

Снес их к сапожнику, Романову наследнику, но наследнику мастерской, а не таланта. Тот, как увидал, поднеся к свету, сразу сказал, что больше чинить нечего, кожа не выдержит. Николай и сам видел это и никакой особенной надежды не питал.

– Значит – конченное дело?

– Да уж... и думать не стоит. Пора о новых подумать.

Николай вернулся с сапогами, положил их на лавку и не то чтобы загрустил, а крепко задумался.

Думал о сапогах и вообще – о непрочности земного. Если уж такая пара сносилась – что же вечно? Издали посмотрел – как будто прежние сапоги, и на ногу зайдут привычно и деловито. Ан нет – это уж не сапоги, а так, труха, не годная и на заплаты, не то что на дворницкую работу. А ведь будто и подкова не совсем стерлась, и гвоздь цел; внутри же и он ржавый.

Пуще всего поражали Николая внезапность происшедшей безнадежности. Ставя последнюю заплату, сапожник головой не качал, гибели не предсказывая, просто показал пальцем, что вот отсель и досель наложит, пришьет, края сгладит. Это была обычная починка, а не борьба с гибелью. Была бы борьба – и утрата была бы проще. А так – полная гибель пришла внезапно.

– Видать – внутри оно гнило. И гвозди проржавели, и кожа сопрела. А уж аккуратно. И, главное дело, работа не простая, а Романова, знаменитая. Ныне так не сошьют.

Пока заправлял в лампе фитиль, все думал, и не столько о том, что вот нужно новые шить, сколько о бренности земного. Кажется – ничем не сокрушишь, и снаружи все ладно. А пришел день, ветром дунуло, дождем промочило, внутри труха – вот тебе и сапоги. И все так! И дом стоит, стоит – и упасть может. И с самим человеком то же самое.

Зашел повечеру соседний дворник, тоже уже пожилой, непризывной. Рассказал ему Николай о сапогах. Посмотрели их, поковыряли:

– Делать тут нечего. Новые надо. Выкладывай денежки. Сейчас такого товару и в заводе нет.

– Справлюсь. Не денег жалко – работы жалко. Работа была знаменитая.

Покурили. Сразу стало в дворницкой дымно, кисло и сытно.

– Тоже вот, – сказал Федор, – все? Дела сейчас непрочны. И тебе война, и тебе всякий непорядок. Нынче постовой докладывал: и что только делается! Завтрашний день, говорит, может, нас уберут. И на пост, говорит, никто не выйдем, будем дома сидеть, чай пить.

– Слыхал.

– А уж в Питере, говорит, что делается – и узнать нельзя. Может, и царя уберут. А как это без царя? Непонятное дело.

– Как же можно, чтобы царя отставить, – сказал Николай и опять посмотрел на сапоги, – не нами ставлен.

– Кто его знает, время нонче такое. И все от войны, от нее.

Выходя из дворницкой, Федор еще раз ковырнул пальцем самый плохой сапог, покачал головой:

– Капут дело!

– Да уж сам вижу, – недовольно сказал Николай.

По уходе соседа бросил сапоги в ящик и хмуро слышал, как стукнула подкова о дерево. Хорошо еще, что валенки были обшиты кожей. В сенях взял скребок и вышел на вечернюю работу.

«ПЛИ»

Вася Болтановский рано, в начале десятого, звонил у подъезда дома на Сивцевом Вражке. Отворила Дуняша с подоткнутым подолом и сказала:

– Барышня и барин в столовой. На ведро, барин, не наткнитесь, я полы мою.

Танюша встретила:

– Что случилось, Вася, что вы так рано? Хотите кофе? Ну, рассказывайте.

– Многое случилось. Здравствуйте, профессор. Поздравляю вас: революция!

Профессор поднял голову от книги.

– Что нового узнал, Вася? Газеты нынче опять не вышли?

Вася рассказал. Газеты потому не вышли, что редакторы все торговались с Мрозовским. И даже «Русские Ведомости» – это уж прямо позор! В Петербурге же переворот, власть в руках Думы, образовалось Временное правительство, говорят даже, что царь отрекся от престола.

– Революция победила, профессор. Точные известия. Теперь уже окончательно.

– Ну, посмотрим... Не так все это просто, Вася.

И профессор опять углубился в свою книжку.

Танюша охотно согласилась пойти прогуляться по Москве. В эти дни дома не сиделось. Несмотря на еще ранний для Москвы час, на улицах народу было много, и видно – не занятого делами.

Танюша и Вася пошли бульварами до Тверской, по Тверской до городской думы. На площади стояла толпа, кучками, не мешая проезду; в толпе немало офицеров. В думе что-то происходило. Оказалось, что пройти туда было свободно.

В продолговатой зале за столом сидели люди, явно нездешние, не думские. От входящих требовали пропуск, но так как пропусков не было, то процеживали публику по простым словесным заявлениям. Вася сказал, что он «представитель прессы», а про Танюшу буркнул: «секретарь». Было ясно, что и за столом подбор лиц довольно случаен. Однако на вопрос: «Кто заседает?» – отвечали: «Совет рабочих депутатов». Совещание было не очень оживленным; какая-то растерянность сдерживала речи. Смелее других говорил солдат со стороны, которого, впрочем, также именовали «делегатом». Солдат сердито кричал:

– О чем говорить? Нужно не говорить, а действовать. Идем к казармам – и все. Увидите, что наши примкнут. Чего еще ждать! Привыкли вы в тылу зря разговаривать.

Вышли небольшой толпой. Но уже у самого входа она разрослась. Кто-то, забравшись повыше, говорил речь к публике, но слова доносились плохо. Чувствовалась обычная обывательская работа. Ободряло только присутствие нескольких солдат и офицера с пустым рукавом шинели. Небольшая группочка двинулась в направлении Театральной площади, за ней толпа. Сначала озирались по сторонам, не появятся ли конные, но не было видно даже ни одного городского. Толпа разрослась, и с Лубянской площади, по Лубянке и Сретенке, шло уже несколько тысяч человек. В отдельных группах затягивали «Марсельезу» и «Вы жертвою пали», но выходило нестройно; своего гимна у революции не было. Пришли к Сухаревке, но в виду Спасских казарм толпа опять поредела; говорили, что из казарм будут стрелять.

Вася и Танюша шли с передними. Было жутко и занято.

– Вы, Таня, не бойтесь?

– Не знаю. Я думаю – не будут. Ведь там уже знают, что в Петербурге революция победила.

– Почему же они не выходят, солдаты?

– Ну, вероятно, еще не решаются. А теперь, когда увидят народ, выйдут.

Ворота казарм были заперты, калитки отворены. Здесь чувствовалась нерешительность, а может быть, был отдан приказ – не раздражать толпы. Поговорили с часовым. К удивлению передних, часовые пропустили, и часть толпы, человек в двести, вошла во двор казарм. Остальные благоразумно остались за воротами.

Только несколько окон в казармах было отворено. В окнах видны были солдаты, в шинелях, с возбужденно любопытствующими лицами. Солдаты были заперты.

– Выходите, товарищи, в Петербурге революция. Царя свергли!

– Выходите, выходите!

Махали листками, пытались добросить листки до окон. Просили выслать офицеров для разговора. И, посылая солдатам дружеские и бодрые улыбки, сами не знали, с кем говорят: с врагами или с новыми друзьями. Боязливо порхало недоверие из окон и в окна.

Казармы молчали.

Подошли толпой к дверям. Внезапно двери распахнулись, и толпа отпрянула, увидав офицера в походной форме и целый взвод солдат со штыками, занявший лестницу. Лица солдат были бледны; офицер стоял как каменный, не отвечая на вопросы, не произнося ни одного слова.

Было странно и нелепо. Шумной толпе позволяют кричать на дворе казарм, и кричать слова страшные, новые, бунтовские, соблазняющие – но солдаты не выходят. Из некоторых окон кричат:

– Заперты мы. Не можем выйти.

Из других доносятся скептические возгласы:

– Ладно, болтайте! Вот как разнесут вас пулеметами – вот вам и революция.

Как бы в ответ, из боковой двери, быстро, один за другим, винтовки на весу, выбежал взвод солдат и цепью стал против толпы. Командовал молоденький офицер. Было видно, как у него трясется подбородок. Солдатская молодежь была бледна и растерянна.

Почти в тот же момент раздалась команда:

– Пли!

И залп.

Танюша и Вася стояли впереди, прямо перед дулами ружей. Оба, ухватившись за руки, невольно отпрянули. С боков толпа рассыпалась и побежала к воротам. Кто были в центре – попятиться и прижались к стене.

– Пли! Пли! – еще два залпа.

Взволнованным, почти плачущим голосом, дрожа нервной дрожью, Вася бормотал, стараясь заслонить собой Танюшу:

– Танюша, Танюша, они стреляют, они стреляют в нас, в своих, не может быть, Танюша. Бежать было некуда: либо убьют, либо случится чудо.

Когда залпы прекратились, Вася огляделся: ни стонов, ни раненых, ни мертвых. Была минута гробового молчания. Только от ворот доносились крики: там разбежался народ.

И вдруг – визгливый, тоненький голосок одного из мальчишек, которые всегда и всюду бегут перед толпой:

– Холостыми палят, холостыми!

И, выскочив вперед, мальчишка стал кривляться перед солдатами:

– Холостыми, холостыми паляете!

Вслед за ними к солдатам подбежали несколько рабочих, стали хватать их за винтовки, спутали их цепь, что-то кричали им, в чем-то убеждали. Кое-как, повинувшись окрику офицера, те отбились от толпы и исчезли в подъезде.

Начался снова шум, крики в окнах, снова с улицы в ворота хлынула толпа.

– Выходите, товарищи, выходите к нам!

Танюша стояла, прижавшись к стене казармы, и дрожала. На глазах ее были слезы. Вася держал ее за руку:

– Танюша, милая, что же это такое! Какой ужас! Какой вздор! Как же это можно – сегодня стрелять. Правда, холостыми, но разве можно. В народ стрелять! Танюша!

Все еще дрожа, она потянула его за рукав:

– Вася, пойдем отсюда. Мне холодно.

Держась у стенки, они быстро вышли со двора казарм, миновали шумную толпу, молча, под ручку, дошли обратно до Сретенки и сели на первого встречного извозчика.

– На Сивцев Вражек.

Танюша вынула платок, вытерла глаза и, улыбнувшись, виновато взглянула на Васю:

– Не сердитесь, Вася.

– Да разве же я...

– Нет, а только я очень взволновалась. Я впервые раз...

– Я и сам расклеился, Танюша.

– Знаете, Вася, мне почему-то стало грустно-грустно. Мне не было страшно, даже когда они стреляли. Но у них такие несчастные лица, у солдат, что мне было жалко весь мир, Вася. Совсем не звери, а жалкие люди. И как стыдно...

– Они не виноваты, Таня.

– Я и не виню, но... как это ужасно, Вася, когда толпа и когда люди с ружьями. Я думала, что революция, это – героическое. А тут все боятся и не понимают...

И прибавила, помолчав:

– Знаете, Вася, мне не нравится ваша революция!

## «ЧУДО»

Его ноги округлены в колеса, в жилах пар и масло, в сердце огонь. Он работает эти годы для крови, только для крови, но сам он чист и светел: позаботились, оттерли до блеска все его медные части и номер. Он привез сегодня живой остаток того, кто был в прежнем мире молодым офицером Стольниковым, не угадавшим пятой карты.

Уже не с прежним рвением, как-то больше по-казенному встречают светские сестры раненых на московском вокзале. Уже не театр: бытовое дело. Подходят, заговаривают больше с офицерами. Но к Стольникову не подошли: со страшным обрубком возится его денщик Григорий, помогая уложить его на носилки.

Старший врач сказал младшему врачу:

– Чудо, что этот... жив. И ведь выживет!

Доктор хотел сказать: «этот человек», но не договорил: обрубок не был человеком. Обрубок был обрубком человека.

Григорий, когда приехали, хотел нацепить на грудь Стольникова Георгиевский крест. Но тот покачал головой, и Григорий сунул крестик в коробку, а коробку за пазуху.

Родных не было, знакомые не встретили – не знали. Никого Стольников не известил. И был он слаб, хоть и был чудом. Полгода пролежал в госпитале маленького городка, боялись везти. Теперь он выживет.

Его перевезли в госпиталь. И там врачи удивились «чуду». Ни один не решился утешать безногого и безрукого офицера. Молодые врачи подходили убедиться, что кости колена затянулись синим рубцом, а остаток правой плечевой может шевелиться. Не зная зачем, все же массировали. Стольников смотрел на их лица, на их усы, проворные руки. Когда уходили – смотрел им вслед: вот идут на ногах, как ходил он: раз-два, раз-два...

Ему, как чуду, дали отдельную каморку. Всегда при нем был Григорий, уволенный вчистую; призывной его возраст истек.

Из старых товарищей, университетских, навестили двое; обоим был благодарен, но сказал, что больше не нужно приходить, что пока ему людей видеть не хочется. Поняли. Да и им тяжело было: о чем говорить с ним? О радостях или тягостях жизни? О будущем? От Танюши передали цветы. Он сказал:

– Передайте спасибо ей. Когда полегче будет, я извещу ее.

Меня отсюда скоро выпишут, нечего лечить. Здоров. Где-нибудь поселюсь... вот с Григорием. Тогда приходите.

Он лежал еще месяца три. Он был «здоров», даже располнел. Доктора говорили: «Чудо! Смотрите, как он выглядит. Вот натура!»

И Стольников выписался из госпиталя. В студенческом квартале, в переулке Бронной, Григорий снял ему и себе две комнатки. И был при нем нежной нянькой.

Что их связывало? Беспомощность одного – бездомность другого. Оба узнали что-то особенное, простоватый солдат и офицер-обрубок. Они подолгу говорили вечерами. Больше говорил Стольников, а Григорий слушал. В темноте чиркал спичкой, всовывал папиросу в рот Обрубка, ставил ему под голову блюдечко, для пепла. Сам не курил. А то Стольников читал вслух, а Григорий, набожно слушая непонятную книгу, по знаку переворачивал страницы. Понемногу Стольников сам научился делать это карандашом с резинкой, своей «магической палочкой», которую он забирал в рот. Вслух прочел Григорию почти всего Шекспира. Григорий слушал удивленно и важно: странные образы, непонятные разговоры. Понимал по-своему.

Как ребенок, Обрубок учился жить. Мозг его вечно был занят изобретениями. Он придумал установить над изголовьем наклонную лесенку, подниматься на мускулах шеи; без этого тело перевешивало обрубки ног, – хотя подниматься ему было ни к чему. Со стенной полочки он умел брать ртом папиросу и, держа ее в зубах вместе с «магической палочкой», надавливать пуговку прикрепленной к полке зажигалки и закуривать. Он учился этому больше недели, однажды едва не сгорел в постели и научился.

У Стольникова были небольшие средства, хватавшие для такой жизни. Он купил себе кресло на колесах и придумал сам доступный ему двигатель – но лишь в пределах комнаты; в том же кресле Григорий вывозил его на прогулку по Тверскому бульвару и на Патриаршие пруды. Он завел себе пишущую машинку и научился писать, держа во рту изогнутую палочку с резинкой и передвигая каретку рычагом, приделанным к креслу у левого плеча. Сердился, что бумагу вставлять должен все же Григорий, велел склеить длинные листы, писал плотными строчками. Весь стол его был уставлен коллекцией странных, им изобретенных приборов, изготовленных либо Григорием, либо мастером – по заказу. Молчаливо надевал Григорий Обрубку на голову обруч с приспособленными ложкой и вилкой, и движением кожи лба Обрубок учился пользоваться этими сложными для него орудиями. Воду и чай пил через соломинку. Часто, видя его усталую беспомощность, Григорий говорил:

– Да позвольте, ваше благородие, я вас покормлю. Зачем зря надрываетеесь?

– Подожди. И не зря! Жив – значит надо учиться жить. Понимаешь?

Деловые их беседы были кратки.

У Обрубка не было протезов. Врачи признали их бесполезными:

– Если хотите – для украшения. А так... За границей еще можно достать, и то только для правой руки; для нее есть кое-какая надежда...

Но для украшения он мог надеть френч с заполненными рукавами.

Он хотел надеть его, когда ждал первого визита Танюши. Но раздумал и на первый раз принял ее, оставаясь в постели.

И Танюша, которая знала точно о несчастье Стольникова, удивилась. «Какой у него здоровый вид, хоть и лежит неподвижно».

С Танюшей зашел навестить молодого человека и старый орнитолог. Они сидели недолго. Уходя, Танюша обещала прийти, когда он ее опять позовет.

Дома она долго плакала, вспоминая свой визит, – а плакала Танюша редко. Стольников не был для нее ничем – лишь случайным и недавним знакомым. Но, конечно, он был самым несчастным человеком из всех, кого она знала и могла себе представить.

Ложась спать, полураздетая, она подошла к зеркалу и увидела прекрасные руки, легко закинувшиеся, чтобы заплести волосы в толстую косу. В руках была жизнь, и молодость, и сила. Какое счастье иметь руки! И вдруг, представив себе синие шрамы над отпиленной костью, Танюша вздрогнула, отпрянула, упала лицом в подушки и зарыдала от жалости, от страшной жалости к Обрубку, которой ему нельзя высказать. Это хуже, чем видеть мертвого... раздавленный жизнью и еще копошащийся под нею человек.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.